

# Загадочная история Бенджамина Баттона

**Автор:**

[Френсис Фицджеральд](#)

Загадочная история Бенджамина Баттона

Фрэнсис Скотт Кэй Фицджеральд

Pocket book (Эксмо)

Фрэнсису Скотту Фицджеральду принадлежит, пожалуй, одна из ведущих сольных партий в оркестровой партитуре «века джаза». Писатель, ярче и беспристрастней которого вряд ли кто отразил безумную жизнь Америки 20-х годов, и сам был плотью от плоти той легендарной эпохи, его имя не сходило с уст современников и из сводок светских хроник. Его скандальная манера поведения повергала в ужас одних и вызывала восторг у других. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в настоящем остались его бессмертные книги.

В данный том вошли его лучшие рассказы, в том числе и «Загадочная история Бенджамина Баттона», по которой Дэвид Финчер в 2009 году снял одноименный нашумевший фильм с Брэдом Питтом в главной роли.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Загадочная история Бенджамина Баттона

© Бабков В., перевод на русский язык, 2021

© Беспалова Л., перевод на русский язык, 2021

© Седова Ю., перевод на русский язык, 2021

© Чарный В., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

## Удивительная история Бенджамина Баттона

I

Еще в 1860 году младенцу приличествовало явиться на свет в родительском доме. Ныне же, как мне подсказывают, великие светила врачевания постановили, что первый крик его должен отзвучать среди больничного эфира и чем фешенебельней заведение, тем лучше для него. Таким образом, молодой господин Роджер Баттон с супругой на пятьдесят лет опередили современную моду, когда летним днем 1860 года решили, что их первенцу подобает родиться в больнице. Имеет ли подобный анахронизм какое-либо отношение к ошеломительной истории, о которой я собираюсь рассказать, – об этом доподлинно никто и никогда не узнает.

Я лишь поведаю вам о том, что было дальше, и позволю решать самим.

В довоенном Балтиморе финансовое положение, равно как и общественное, у семейства Баттонов было весьма прочным. Они состояли в родстве с Этой Семьей и с Той Семьей, а это, как известно любому южанину, говорило об их принадлежности к бесчисленной знати, щедро населявшей Конфедерацию. То был их первый опыт в славном старинном обычае деторождения, и, по понятным причинам, господин Баттон был взволнован. Он надеялся, что родится мальчик, которого можно будет отправить в Йельский колледж, в Коннектикут, где сам господин Баттон в течение четырех лет носил весьма подходящее прозвище Манжетка.

Сентябрьским утром, всецело посвященный грандиозному событию, он в волнении поднялся в шесть утра, поправил и без того безупречный галстук и устремился по улицам Балтимора прямо к госпиталю, чтобы удостовериться, что

минувшая темная ночь принесла на своей груди новую жизнь.

Когда до Мэрилендской частной больницы для Леди и Джентльменов ему оставалось ярдов сто, он увидел, как его семейный врач Кин спускается по ступенькам, потирая руки, как делают все доктора согласно неписаной профессиональной этике.

Господин Роджер Баттон, председатель правления компании по оптовой торговле скобяными товарами «Роджер Баттон и партнеры», помчался к доктору Кину с намного меньшим достоинством, чем можно было ожидать от джентльмена с Юга в это колоритное время.

– Доктор Кин! – кричал он. – Эй, доктор!

Услышав его, тот обернулся и застыл в ожидании, и по мере того, как к нему приближался господин Баттон, суровое лицо врача приобретало все более странное выражение.

– Что случилось? – вцепился в него задыхающийся Баттон. – Кто родился? Как она? Мальчик? Или кто? Что...

– Хватит молоть чепуху! – отрезал доктор Кин. Казалось, он был чем-то раздражен.

– Ребенок родился или нет? – взмолился Баттон.

Доктор Кин поморщился.

– В некотором роде да. – Он странно посмотрел на господина Баттона.

– С моей женой все в порядке?

– Да.

– Родился мальчик или девочка?

– Значит так! – вскричал разгневанный доктор Кин. – Идите и сами смотрите! Это возмутительно!

Проглотив последнее слово, он отвернулся, бормоча:

– Вы что, думаете, что это пойдет на пользу моей профессиональной репутации? Еще один подобный случай, и мне конец – да и вообще кому угодно!

– Да в чем там дело? – господин Баттон, объятый ужасом, все еще ждал объяснений. – Тройняшки?

– Нет, не тройняшки! – оборвал его доктор. – Идите, сами все увидите! И найдите себе другого врача. Молодой человек, я помог вам появиться на свет и сорок лет наблюдал ваших родных, но с вами никаких дел иметь не желаю! Не хочу больше видеть ни вас, ни ваших родственников, никогда! Прощайте!

Резко повернувшись и больше не сказав ни слова, он забрался в ожидавшую его у бордюра двуколку и с мрачным видом укатил прочь.

Ошеломленный господин Баттон остался стоять на тротуаре, дрожа, как осиновый лист. Какое несчастье могло случиться? Желание идти дальше внезапно покинуло его, и лишь с огромным трудом он заставил себя подняться по ступенькам и войти в двери Мэрилендской частной больницы для Леди и Джентльменов.

В непроницаемом для света мраке приемной залы за столом сидела постовая сестра. Отринув стыд, господин Баттон подошел ближе.

– Доброе утро, – она приветственно взглянула на него.

– Доброе утро. Я... Меня зовут Баттон.

Неподдельный ужас исказил лицо девушки. Вскочив со стула, она хотела было бежать, но с видимым усилием взяла себя в руки.

– Я хочу увидеть своего ребенка, – продолжил Баттон.

Медсестра ойкнула.

– Ко... конечно! – истерически закричала она. – Наверх. Идите наверх. Вам туда!

Она указала ему направление, и господин Баттон, которого прошиб холодный пот, на негнущихся ногах проследовал на второй этаж. Там он встретил другую медсестру, в руках которой был тазик.

– Меня зовут Баттон, – выдавил он. – Я хочу увидеть своего...

Блямс! Тазик упал на пол, поехав напрямик к лестнице. Блямс! Блямс! Он методически спускался прочь по ступенькам, словно поддался всеобщему ужасу, вызванному появлением этого джентльмена.

– Я хочу видеть моего ребенка! – Баттон почти срывался на визг. Он едва держался на ногах.

Дзынь! Тазик достиг первого этажа. Медсестра, справившись с минутным замешательством, смерила господина Баттона уничижительным взглядом.

– Хорошо, господин Баттон, – тихо согласилась она. – Будь по-вашему. Знали бы вы, в каком состоянии с самого утра весь наш персонал! Это просто неслыханно! После подобного вся репутация нашей больницы...

– Быстрее! – хрипло взревел он. – Не желаю ничего слышать!

– Что ж, господин Баттон, следуйте за мной.

Он потащился вслед за ней. Пройдя по длинному коридору, они достигли комнаты, из которой раздавался истошный детский крик, – позже ее стали называть «комнатой плача», и вошли внутрь.

Вдоль стен стояло с полдюжины белых эмалированных кроваток, и у каждой в головах была привязана бирка.

– Где мой ребенок? – задыхался Баттон.

– Вон там! – указала сестра.

Взгляд господина Баттона следовал за ее пальцем, и вот что он увидел. Закутанный в объемистое одеяло, помещаясь в кроватке лишь частично, сидел старик лет примерно семидесяти. Его редкие волосы были совершенно седыми, а с подбородка спускалась дымчатая борода, нелепо развеваемая ветерком, залетавшим в распахнутое окно. Его поблекшие, белесые глаза недоуменно уставились на Баттона.

– Я что, сошел с ума? – прогремел тот, и ужас на его лице постепенно сменился гневом. – Или это одна из ваших омерзительных больничных шуточек?

– Никто из нас не позволил бы себе шутить подобным образом, – строго отвечала медсестра. – Я не знаю, в своем вы уме или нет, но это совершенно определенно ваш ребенок.

Холодный пот вновь проступил на лбу господина Баттона. Он закрыл глаза, вновь открыл их и посмотрел: ошибки не было, перед ним был семидесятилетний мужчина. Семидесятилетний ребенок, чьи ноги свисали с бортов кроватки, в которой он сидел.

Старик спокойно смотрел на них, а затем внезапно заговорил надтреснутым голосом.

– Ты мой отец? – спросил он.

Господин Баттон и сестра встрепенулись.

– Если ты и впрямь мой отец, – раздраженно продолжал тот, – то я хочу, чтобы ты забрал меня отсюда или хотя бы распорядился, чтобы мне принесли кровать поудобнее.

– Во имя всего святого, откуда ты взялся? Кто ты вообще такой? – яростно завопил Баттон.

– Я не могу точно сказать, кто я такой, – последовал жалобный ответ, – ведь я родился всего несколько часов назад, но моя фамилия Баттон.

– Ты лжец и мошенник!

Старик устало посмотрел на медсестру.

– Хорошо же у вас относятся к новорожденным, – с укоризной прозвучал его слабый голос. – Скажите ему, что он неправ.

– Вы ошибаетесь, господин Баттон, – резко одернула отца медсестра. – Это ваш ребенок, и вам придется с этим смириться. Мы настоятельно просим вас сегодня же забрать его домой и сделать это как можно скорее.

– Домой? – переспросил тот, не веря своим ушам.

– Разумеется, мы же не можем оставить его здесь! Это невозможно!

– Я буду очень рад, – посетовал старик. – Это место подойдет кому-то помоложе и не такому требовательному. Среди всех этих криков и завываний положительно невозможно уснуть. Я попросил чего-нибудь поесть, – тут в его голосе слышались нотки возмущения, – а мне принесли бутылочку с молоком!

Господин Баттон тяжело опустился на стул рядом с кроваткой сына и схватился за голову.

– Святые небеса! – бормотал он в священном ужасе. – Что скажут люди! Что же мне делать!

– Вам следует немедленно забрать его домой! – напомнила медсестра.

Перед глазами измученного отца с ужасающей ясностью проступала гротескная картина: он идет по улицам, а бок о бок с ним шествует этот отвратительный призрак.

– Не могу! Не могу... – простонал он.

Люди будут останавливать его, задавать вопросы и что он им ответит? Придется ему знакомить их с этим... с этим семидесятилетним стариком: «Это мой сын, родился сегодня, рано утром». И старик подберет свое одеяло, и они поплетутся

дальше, мимо шумных лавок, мимо невольничьего рынка – в миг помрачения Баттон страстно пожелал, чтобы его сын оказался негром, – мимо квартала роскошных особняков, мимо дома престарелых...

– Да соберитесь же и придите в себя наконец! – прозвучал над его ухом командный голос сестры.

– Видите ли, – внезапно провозгласил старик, – если вы считаете, что я отправлюсь домой вот в этом одеяле, вы ошибаетесь.

– У детей должны быть одеяла.

Старик ехидно рассмеялся, продемонстрировав маленькую белую пеленку.

– Смотрите! – дрожащим голосом проговорил он. – Вот во что меня собирались одеть.

– Все дети это носят, – чопорно вскинулась медсестра.

– Что ж, – насупился старик, – еще пара минут, и я вообще ничего не стану надевать! От этого одеяла у меня все чешется. Могли бы хоть простынь дать!

– Не снимай его, не надо! – спохватился господин Баттон, затем повернулся к сестре:

– И что же мне делать?

– Купите своему сыну какую-нибудь одежду.

Вдогонку ему слышался голос сына: «И трость, папа. Мне нужна трость».

Уходя, господин Баттон яростно хлопнул дверью.

– Доброе утро, – господин Баттон нервно поздоровался с клерком Чесапикской Галантерейной Компании. – Я хочу купить одежду своему сыну.

– Сколько ему лет, сэр?

– Часов шесть, – последовал незамедлительный ответ.

– Товары для новорожденных вон там, сзади.

– Полагаю, что они мне не нужны. Просто... это очень большой ребенок. Очень, эээ, крупный.

– У нас есть самые большие размеры.

– Где одежда для мальчиков? – отчаянно лавировал господин Баттон, чувствуя, что клерк, должно быть, пронюхал, что за постыдную тайну он скрывал.

– Вам туда.

– Что ж... – он помедлил. Мысль о том, что его сын сейчас наденет мужскую одежду, была невыносима. Если ему посчастливится найти мальчишеский костюм большого размера, можно будет сбрить эту кошмарную бороду, покрасить седину каштановым и как-то скрыть самое ужасное, заодно сохранив собственное достоинство, не говоря уже о положении в балтиморском обществе.

Впрочем, лихорадочный поиск в отделе одежды для мальчиков ничего не дал – ни один костюм не подошел бы новорожденному Баттону. Разумеется, вина лежала на сотрудниках магазина, как и предполагается в таких случаях.

– Так сколько лет вашему сыну? – любопытствовал клерк.

– Шестнадцать.

– О, прошу прощения. Мне послышалось «шесть часов». Одежда для подростков в другом крыле.

Несчастный господин Баттон побрел прочь, но вдруг остановился, просияв, и ткнул пальцем в манекен на витрине:

– Вот! Я куплю костюм с этого манекена.

Клерк недоуменно уставился на него.

– Но он совсем не детский. Нет, конечно, его можно носить, но он маскарадный! Вы бы и сами могли его надеть!

– Заворачивайте, это то, что мне нужно, – бросил раздосадованный клиент.

Потрясенный клерк подчинился.

Вернувшись в больничную палату, мистер Баттон швырнул пакет сыну.

– Давай, одевайся! – выпалил он.

Старик развязал пакет, недоуменно уставившись на его содержимое.

– Какая-то странная одежда, – недовольно заметил он. – Я не хочу выглядеть как дурак.

– Это я рядом с тобой выгляжу как дурак! – в гневе парировал Баттон. – Не важно, на кого ты там будешь похож. Надевай, или... или я тебя выпорю!

Он сглотнул – последнее слово далось ему нелегко, но поступить иначе он не мог.

– Хорошо, отец, – послушался ответ, в котором звучало насмешливое подобие сыновней почтительности. – Ты больше жил на этом свете, тебе виднее. Как скажешь.

Заслышав слово «отец», господин Баттон вновь содрогнулся.

– И поживее!

- Стараюсь, отец.

Когда сын наконец оделся, Баттон оглядел его с кислой миной. Костюм состоял из носков в крапинку, розовых штанов и курточки с поясом и широким белым воротником, над которым развевалась длинная седая борода, достававшая почти до живота.

Зрелище было удручающее.

- погоди!

Господин Баттон схватил хирургические ножницы и тремя щелчками отхватил большую часть бороды. Однако даже после такой манипуляции общая композиция была далека от совершенства. Копна всклокоченных волос, слезящиеся глаза, старческие зубы никак не сочетались со столь забавным костюмом. Но господин Баттон был непреклонен, протянув ему руку.

- Идем! - сурово приказал он.

Сын доверчиво взял его руку.

- Как ты будешь звать меня, папа? - дрожащим голосом спросил он, пока они покидали палату. - Просто «сын», пока не придумаешь чего-нибудь получше?

Господин Баттон фыркнул.

- Я не знаю, - резко бросил он. - Думаю, назовем тебя Мафусаилом.

III

Даже после того, как скудную поросль на голове пополнения семейства Баттонов коротко остригли, а затем окрасили в неестественно черный, лицо выбрили так тщательно, что оно блестело, и вырядили в мальчишечью одежду, заказанную у ошарашенного портного, Баттон не мог не признать, что его сын совершенно не годится на роль первенца. Несмотря на старческую сутулость, Бенджамин Баттон - такое имя ему дали, несмотря на более подходящее, но

оскорбительное Мафусаил, – был ростом пять футов восемь дюймов. Одежда не могла это скрыть, как и подстриженные, подкрашенные брови не скрывали слезящихся, поблекших, усталых глаз. Няня, которую наняли заранее, сбежала из дома, пылая праведным гневом, едва лишь взглянув на него.

Но глава семейства был настроен весьма решительно. Бенджамин был ребенком и должен был вести себя, как ребенок. Сперва он заявил, что, если Бенджамину не нравится теплое молоко, он может вообще ничего не есть, но все же его наконец убедили давать сыну хлеб с маслом и даже овсянку в качестве компромисса. Однажды он принес домой погремушку, вручил ее Бенджамину, недвусмысленно дав понять, что тот обязан с ней играть, и старик, с усталым видом приняв ее из рук отца, послушно принялся звенеть ей по несколько раз за день.

Погремушка, конечно же, ему быстро наскучила, и он искал утешения в иных развлечениях, стоило ему остаться одному. Например, как-то господин Баттон обнаружил, что за минувшую неделю выкурил намного больше сигар, чем обычно. Несколько дней спустя феномену нашли объяснение – войдя в детскую без предупреждения, он увидел, что в комнате стоит синеватый дымок, а Бенджамин с виноватым видом пытается спрятать окурок темной «гаваны». За подобный проступок, конечно же, полагалась добрая порка, но господин Баттон не смог поднять руку на сына, вместо этого предупредив его, что от этого он может «перестать расти».

Несмотря на все это, он не сдавался. Он покупал игрушечных солдатиков, поезда, игрушечных животных, набитых хлопком, и, чтобы усилить эффект иллюзии, в которую верил сам, даже задавал клерку в магазине игрушек вопросы типа «сойдет ли краска с розовой уточки, если ребенок засунет ее в рот». Но, невзирая на все усилия, приложенные отцом, Бенджамин не проявлял к этому ни малейшего интереса. Он крался по лестнице в детскую, а в руках его был очередной том «Британской энциклопедии», которую он жадно поглощал, пока на полу валялись позабытые бумазейные коровы и Ноев ковчег. С подобного рода упрямством его отец совладать не мог, как ни старался.

Сенсация, которую появление подобного ребенка вызвало в Балтиморе, была невероятной. Трудно сказать, как этот казус в итоге повлиял бы на репутацию семейства и его родни, так как началась Гражданская война, и внимание общественности было приковано к делам иного рода. Некоторые горожане, отличавшиеся необычайной вежливостью, ломали голову в поисках подходящих

поздравлений и в итоге сошлись во мнении, что ребенок поразительно похож на дедушку – неоспоримый факт, учитывая то, как обычно выглядят все мужчины семидесяти лет. Ни господин Баттон, ни его супруга не обрадовались подобным комплиментам, а дедушка Бенджамин был оскорблен до глубины души.

Покинув больничные стены, Бенджамин принял жизнь такой, как есть. К нему в гости приходили другие дети, и он, скрипя суставами, пытался играть с ними в волчок и шарики и даже – совершенно случайно – разбил окно на кухне камнем, пущенным из рогатки, чему втайне порадовался его отец.

Впоследствии Бенджамин каждый день что-то ломал, но лишь потому, что от него ждали этого, а он был послушным мальчиком.

Когда его дедушка сменил первоначальный гнев на милость, они с Бенджамином обнаружили, что весьма приятно могут проводить время вместе. Несмотря на огромную разницу в возрасте и жизненном опыте, они часами могли сидеть вдвоем, как закадычные друзья, с неустанной монотонностью обсуждая то, как медленно тянулись дни. Общество дедушки Бенджамину нравилось куда больше родительского – те трепетали в его присутствии, и, хотя их власть над ним была абсолютной, они часто обращались к нему «мистер».

Как и всех остальных, его весьма занимал вопрос собственного появления на свет в подобном теле и возрасте. Он искал статьи в медицинских журналах, но подобные случаи никогда ранее не описывались. По настоянию отца он честно пытался принимать участие в мальчишеских играх из тех, что полегче – от футбола внутри его все ходило ходуном, и он боялся, что его старым костям не срастись, сломай он себе что-нибудь.

Когда ему стукнуло пять, его отправили в детский сад, где он познал искусство наклеивания зеленой бумаги на оранжевую, рисования цветных узоров и бесконечного вырезания ожерелий из картона. Он имел обыкновение засыпать, предаваясь этим занятиям, что раздражало и пугало молодую воспитательницу. К его облегчению, она пожаловалась родителям, и больше туда он не ходил. Роджер Баттон сказал друзьям, что для этого его сын еще слишком мал.

К тому времени, как ему исполнилось двенадцать лет, родители уже привыкли к нему. В самом деле, благодаря силе привычки теперь они считали, что их сын ничем не отличается от остальных детей, разве что какой-нибудь курьезный

случай нет-нет да и напоминал им об этом. Но однажды, спустя несколько недель после своего двенадцатого дня рождения, смотрясь в зеркало, Бенджамин сделал – или ему показалось, что сделал, – необычайное открытие. Быть может, глаза обманывали его или его волосы за двенадцать лет жизни под слоем краски сменили цвет с седого на серо-стальной? Стала реже сеть морщин на его лице? Была ли теперь его кожа здоровее, с налетом румянца? Наверняка он не знал, но больше он не сутулился, и его самочувствие определенно улучшилось с тех пор, как он родился.

– Возможно ли это? – он не смел даже предполагать подобное.

Он подошел к отцу.

– Я вырос, – решительно сообщил он. – Хочу носить длинные брюки.

Тень сомнения пробежала по лицу его отца.

– Что ж, даже не знаю, – протянул он наконец. – Четырнадцать лет – подходящий для этого возраст, а тебе еще всего двенадцать.

– Но ведь ты знаешь, что для своих лет я очень высокий, – возразил Бенджамин.

Отец с притворной задумчивостью оглядел сына.

– Не уверен, – поморщился он. – В свои двенадцать я был таким же здоровяком.

Это было неправдой – так Роджер пытался убедить себя в том, что его сын абсолютно нормален.

В конце концов они пришли к соглашению. Бенджамин и дальше обязан был красить волосы, а также играть со сверстниками. Очки и трость носить ему воспрещалось. Согласившись на эти условия, он получил свой первый костюм с длинными брюками.

Я не намерен много говорить о жизни Бенджамина Баттона между двенадцатым и двадцать первым годами. Достаточно упомянуть, что в те годы он развивался вспять. Когда Бенджамину исполнилось восемнадцать, он стал похож на пятидесятилетнего мужчину: волос у него прибавилось, они приобрели темно-серый цвет, шаг его стал тверже, голос перестал дрожать, превратившись в приятный баритон. Отец отослал его в Коннектикут для сдачи вступительных экзаменов в Йельский колледж. Бенджамин сдал экзамены, пополнив ряды первокурсников.

На третий день после зачисления ему пришло уведомление от секретаря, мистера Харта явиться к нему в кабинет для ознакомления с расписанием. Взглянув в зеркало, Бенджамин решил, что ему следовало бы подкрасить волосы, но лихорадочные поиски в комодe ничего не дали – коричневой краски там не было. Он вспомнил, что она кончилась еще накануне и он выбросил пустую бутылку.

Перед ним была дилемма. Секретарь ждал его через пять минут. Делать было нечего – придется идти в таком виде. И он пошел.

– Доброе утро, – вежливо приветствовал его секретарь. – Вы пришли узнать, как дела у вашего сына?

– Собственно, меня зовут Баттон... – начал было Бенджамин, но мистер Харт оборвал его.

– Весьма рад встрече с вами, господин Баттон. Ваш сын должен явиться с минуты на минуту.

– Но это я! – выпалил Бенджамин. – Я зачислен на первый курс!

– Что?!

– Я первокурсник!

– Должно быть, вы шутите!

– Вовсе нет!

Нахмурившись, секретарь заглянул в личное дело студента.

- Позвольте, но Бенджамину Баттону восемнадцать лет!

- Именно так, - заверил его Бенджамин, слегка порозовев от смущения.

- Вы же не думаете, что я вам поверю, господин Баттон? - устало возразил секретарь.

- Мне восемнадцать, - вяло упорствовал тот, улыбаясь.

Секретарь мрачно указал ему на дверь.

- Убирайтесь, - процедил он. - Покиньте колледж и убирайтесь из города. Вы опасны для окружающих, вы не в себе!

- Но мне в самом деле восемнадцать!

Мистер Харт распахнул дверь.

- Немыслимо! - заорал он. - В вашем-то возрасте вы пытаетесь поступить на первый курс?! Да еще утверждаете, что вам восемнадцать лет! Даю вам восемнадцать минут на то, чтобы убраться вон из города.

Бенджамин Баттон с достоинством покинул кабинет, провожаемый любопытными взглядами полдюжины старшекурсников, ожидавших под дверью. В холле он остановился, обернулся, глядя в разъяренное лицо секретаря, все еще стоявшего в дверях, и твердым голосом проговорил:

- И все же мне восемнадцать лет.

Ему ответствовал лишь хор покотившихся со смеху студентов, и он удалился прочь.

Однако уйти так просто ему не дали. Пока он печально шествовал к железнодорожной станции, его догоняли все новые и новые группки студентов,

и наконец он оказался в сопровождении огромной толпы людей. Как быстро разлетелась весть о том, что какой-то сумасшедший сдал вступительные экзамены, пытаясь выдать себя за восемнадцатилетнего! Весь колледж словно поразила лихорадка. Мужчины выбегали прочь из классных комнат, позабыв свои шляпы, футбольная команда, пренебрегая тренировками, присоединилась к рюю любопытных, профессорские жены со шляпками и турнюрками набекрень, гомоня, бежали за процессией, из которой до уязвленного Бенджамин Баттона доносились издевательские крики:

- Это же Вечный Жид!
- Он бы еще в подготовительную школу пошел!
- Смотрите-ка, юный гений!
- Небось с домом престарелых перепутал.
- Дуй сразу в Гарвард!

Бенджамин шел все быстрее, а затем побежал. Он еще всем им покажет! Отправится напрямик в Гарвард, и тогда они пожалуют о своих оскорблениях!

Оказавшись в безопасности, в вагоне поезда, следовавшего на Балтимор, он высунулся в окно.

- Вы еще пожалеете! - кричал он.

Ответом ему был все тот же студенческий хохот. И это была самая большая из ошибок, которую когда-либо допускали в Йельском колледже.

V

В 1880 году Бенджамину Баттону исполнилось двадцать лет, и свой день рождения он отметил, устроившись на работу в отцовскую компанию по торговле скобяными изделиями. В том же году он приобщился к общественной жизни, а именно по настоянию отца стал посещать танцы. Роджеру Баттону

стукнуло пятьдесят, и он все больше сближался с сыном – Бенджамин уже перестал красить волосы, все еще сохранявшие серый оттенок, они выглядели примерно одинаково и могли бы сойти за братьев.

Одним августовским вечером они вырядились в свои лучшие вечерние костюмы, сели в двуколку и отправились на танцы в загородный дом семейства Шевлин, находившийся в предместье Балтимора. Вечер выдался великолепный. Свет полной луны, заливавший дорогу, придавал ей матовый платиновый блеск, а запоздалые цветы, чуть дыша, словно смеялись еле слышно, разливая в недвижимом воздухе свой аромат. Окрестные поля, засеянные спелой пшеницей, сияли, как днем, и почти невозможно было устоять перед красотой прозрачного неба... почти.

– Торговлю скобяными товарами ждет большое будущее, – провозгласил Роджер Баттон, чуждый всяческой одухотворенности и обладавший рудиментарным чувством прекрасного.

– Стариков вроде меня новым фокусам не научишь, – глубокомысленно заметил он. – Будущее за вами, молодежь, вы полны энергии, полны жизненных сил!

Далеко впереди виднелись огни дома Шевлинов, и чем ближе они подъезжали, тем явственней становился звук, напоминавший легкое дыхание, – может быть, играли скрипки или серебристая рожь шелестела на ветру под луной.

Они притормозили за двухместной каретой, из которой выходили пассажиры. Сперва наружу выбралась дама, за ней пожилой джентльмен, а затем юная леди, прекрасная, как сама любовь. Бенджамин вздрогнул: как будто химическая реакция пробежала по его телу, разложив его на элементы и собрав воедино. Он оцепенел, кровь бросилась ему в лицо, залила лоб, стучала в уши. Он впервые влюбился.

То была девушка стройная, хрупкая, с волосами, пепельными в лунном свете и золотистыми, как мед, в отблеске шипящих газовых ламп на крыльце. Ее плечи скрывала мягчайшая желтая испанская мантилья, усыпанная черными бабочками, под платьем с треном сверкали туфельки.

Роджер склонился к сыну.

– Смотри, это юная Хильдегарда Монкриф, дочь генерала Монкрифа.

Бенджамин холодно кивнул.

– Красивая, – сказал он безучастно.

Но, когда негритенок увел их лошадь, добавил:

– Папа, можешь ей меня представить?

Они приблизились к группе гостей, центром которой была мисс Монкриф. Воспитанная в старых традициях, она сделала ему книксен. Да, он, пожалуй, пригласит ее на танец. Поблагодарив ее, на негнущихся ногах он отошел прочь.

Время до предназначенного ему танца тянулось бесконечно долго. Молча, с непроницаемым видом он стоял у стены, испепеляющим взглядом следя за тем, как вокруг Хильдегарды Монкриф вьются юные балтиморские хлыщи, на чьих лицах читалось страстное обожание. Какими несносными, какими невыносимо цветущими казались они ему! От вида их кудрявых усиков внутри его рождалась тошнотворная волна.

Но лишь пришел его черед и он закружился с ней на паркете под звуки последнего парижского вальса, его ревность и волнение растаяли, как снежная мантия. Он был очарован, ослеплен ею и чувствовал, что вся жизнь впереди.

– Вы с братом приехали сразу вслед за нами, да? – спросила Хильдегарда, глядя на него снизу вверх, и глаза ее блестели, как голубая глазурь.

Бенджамин охватило сомнение. Если она думает, что он приходится братом собственному отцу, стоит ли сказать правду? Он вспомнил, чем все закончилось в Йельском колледже, и решил, что не стоит. Грубо было бы перечить ей, и совершеннейшим преступлением было бы омрачать этот восхитительный миг нелепой историей своего рождения. Может быть, когда-нибудь позже он обо всем ей расскажет. А сейчас он кивал, улыбался ей, слушал ее и был счастлив.

– Мне нравятся мужчины ваших лет, – щебетала Хильдегарда. – Мальчишки помоложе такие глупые. Хвастаются передо мной, сколько шампанского выпили

в колледже, сколько денег проиграли за карточным столом. А мужчины вашего возраста знают толк в женщинах.

Бенджамин почувствовал, что готов сделать ей предложение, но усилием воли подавил внезапный порыв.

– Пятьдесят – самое время для романтики, – продолжала она. – В двадцать пять все уже слишком опытные, в тридцать валяются с ног от работы, в сорок лет начинаются истории, не кончающиеся, пока не истлеет сигара, шестьдесят... слишком близко к семидесяти, но вот пятьдесят лет – возраст зрелости, и мне он нравится.

Пятьдесят лет начали казаться Бенджамину прекрасным возрастом. Он страстно желал стать пятидесятилетним.

– Я всегда говорила, что лучше стану женой пятидесятилетнего мужчины и буду окружена заботой, чем буду вынуждена заботиться о тридцатилетнем муже.

Остаток вечера для Бенджамина был сладок, словно мед. Хильдегарда еще дважды танцевала с ним, и они пришли к выводу, что их мнения по насущным вопросам во многом совпадают. В следующее воскресенье они договорились поехать кататься в экипаже и продолжить разговор на прогулке.

Отправляясь домой в двуколке почти на рассвете, когда слышалось жужжание первых пчел и луна еще мерцала в холодном росном блеске, Бенджамин вполуха слушал, как его отец разглагольствовал о торговле.

– Как думаешь, что для нас важнее всего помимо гвоздей и молотков? – спросил его Баттон-старший.

– Любовь, – рассеянно отвечал ему сын.

– Угольники? – переспросил его отец. – Кажется, с ними я уже разобрался.

Бенджамин смотрел на него пустыми глазами, а небо на востоке вдруг озарилось светом, и среди пронесившихся мимо деревьев показалось солнце.

## VI

Когда полгода спустя стало известно о помолвке мисс Хильдегарды Монкриф и Бенджамина Баттона (я говорю, что о ней стало известно потому, что генерал Монкриф заявил, что скорее бросится на собственную саблю, чем объявит о ней лично), лихорадочное возбуждение балтиморской общественности достигло предела. Полузабытая история рождения Бенджамина была вновь извлечена на свет, носилась в воздухе, обрастая невероятными, скандальными подробностями. Говорили, что на самом деле он приходится Роджеру Баттону отцом; что Бенджамин – его брат, просидевший в тюрьме сорок лет, что он – замаскированный Джон Уилкс Бут, и в довершение всего – что на голове у него растут маленькие конические рожки.

Воскресные приложения к нью-йоркским журналам обыграли эти слухи, публикуя шаржи, где Бенджамин Баттон изображался то с рыбьим, то со змеиным туловищем, то с телом, отлитым из чистой меди. Среди газетчиков он был известен как «человек-загадка из Мэриленда». И, как всегда, правде предпочитали верить лишь немногие.

Но все, как один, были согласны с генералом Монкрифом касательно «преступного» намерения его дочери отдаться в руки мужчины, которому, вне всяческих сомнений, было пятьдесят лет. Тщетной была публикация в «Балтимор Блейз», заказанная Роджером Баттоном, где крупно было напечатано свидетельство о рождении его сына – этому никто не верил. Достаточно было просто взглянуть на Бенджамина.

Те же, кого эта история касалась напрямую, не сомневались ни секунды. О женихе Хильдегарды плели столько небылиц, что та отказывалась верить даже правде. Генерал Монкриф безуспешно твердил о том, что мужчины в пятьдесят лет (или те, кому на вид лет пятьдесят) часто внезапно умирают, напрасно он сетовал на то, что торговля скобяными товарами не приносит стабильного дохода, – Хильдегарде был нужен зрелый мужчина, и она вышла замуж.

## VII

По меньшей мере в одном друзья Хильдегарды Монкриф ошибались. Торговля скобяными товарами приносила небывалые доходы. За пятнадцать лет, прошедших со свадьбы Бенджамина в 1880-м до дня, когда его отец отошел от

дел, в 1895-м, состояние семейства умножилось вдвое, и большей частью то была заслуга молодого Баттона.

Стоит ли говорить, что тогда балтиморцы приняли его и жену с распростертыми объятиями. Даже старый генерал Монкриф примирился с зятем, стоило тому оплатить издание его «Истории Гражданской войны» в двадцати томах, которую отвергли девять крупных издательств.

За пятнадцать лет Бенджамин разительно изменился. Кровь кипела в его жилах, каждое утро он встречал с радостью, пружинисто шагая по шумным, солнечным улицам, чтобы без усталости принимать поставки своих гвоздей и молотков. В 1890-м он стал знаменитым благодаря своей находчивости в делах: он предложил считать все гвозди, которыми были сбиты ящики с грузом гвоздей, собственностью экспортера. Предложение это было узаконено и одобрено председателем Верховного суда Фоссилом, и отныне компания по оптовой торговле скобяными товарами «Роджер Баттон и партнеры» ежегодно экономила больше шести сотен гвоздей.

Кроме того, Бенджамин постепенно стал находить удовольствие в радостях жизни. Энтузиазм его все рос, и он стал первым гражданином Балтимора, купившим автомобиль и научившимся его водить. Встретив его на улицах города, сверстники завидовали его здоровью и жизнерадостности.

«Он будто молодеет с каждым годом», – говорили они. И если папаша Баттон, которому было уже шестьдесят пять, не признавал своего сына, когда тот родился, то теперь всячески заискивал перед ним.

Теперь же стоит упомянуть об одном малоприятном факте, чтобы как можно скорее забыть о нем: единственным источником волнений для Бенджамина Баттона стала его супруга, к которой он совершенно охладел.

Хильдегарде тогда было тридцать пять лет, и у них был четырнадцатилетний сын, Роско. Когда они только поженились, Бенджамин был от нее без ума. Но годы шли, и ее волосы цвета меда утратили волнующий блеск, превратившись в каштановые, голубая глазурь ее глаз стала дешевой эмалью, и, что было хуже всего, она совершенно одомашнилась, утратив былую страсть, став бледной тенью самой себя, потеряв вкус к жизни. Раньше она не могла затащить Бенджамина на танцы и званые ужины, а теперь все было наоборот. Она все еще

выходила с ним в свет, но без особой охоты, пожираемая той вечной косностью, что, лишь раз найдя приют в нашей жизни, уже не покидает нас до самого конца.

Недовольство Бенджамина росло. В 1898 году, едва разразилась испано-американская война, его дом настолько ему опостылел, что он решил пойти на фронт добровольцем. С его связями ему удалось получить патент на капитанский чин, и военное дело давалось ему с таким успехом, что он быстро дослужился сперва до майора, а затем и до подполковника и участвовал в знаменитом штурме высоты Сан-Хуан. Он был легко ранен и награжден медалью.

Тяготы и волнения кавалерийской жизни так завладели им, что он не хотел увольняться, хоть того и требовали дела его компании. Подав в отставку, он вернулся домой. На станции его встречали с оркестром и провожали до самого дома.

## VIII

Хильдегарда ждала его на пороге, размахивая шелковым флагом, и поцеловав ее, он ощутил, как дрогнуло его сердце – три года не прошли для нее даром. Минуло ее сорокалетие, и в волосах супруги он заметил первые проблески седины. Зрелище это повергло его в уныние.

Наверху, у себя в комнате, его ждало такое знакомое зеркало – он подошел ближе, взволнованно изучая свое отражение, на миг сравнив его с довоенной фотографией в униформе.

– Боже правый! – вскричал он. Время шло вспять, сомнений не было – в зеркале перед ним был мужчина лет тридцати. Но это зрелище вовсе не радовало его – он становился все моложе. До сих пор он надеялся, что, когда его телесный возраст совпадет с хронологическим, невероятный процесс, омрачивший его рождение, завершится. Он задрожал. Какой невысказанный, беспощадный рок тяготел над ним!

Он спустился вниз, где его ждала расстроенная Хильдегарда, и все гадал, не догадалась ли она, что с ним происходит? В попытке разрядить напряжение,

возникшее меж ними, он осторожно коснулся этой темы за ужином.

– Знаешь, – заметил он как бы между прочим, – все твердят, что я выгляжу еще моложе прежнего.

Фыркнув, Хильдегарда смерила его презрительным взглядом.

– Разве этим стоит хвалиться?

– Я вовсе не хваюсь, – неловко парировал он.

Она засопела.

– Еще чего! – заворчала она, и, чуть помедлив, добавила: – Полагаю, тебе хватит мужества прекратить это?

– Но как? – с вызовом ответил он.

– Не собираюсь с тобой спорить, – отрезала она. – Но в жизни можно принимать верные решения или ошибочные. Раз уж ты решил, что должен отличаться от всех остальных, не стану тебе мешать, но знай, что так поступать нельзя.

– Но Хильдегарда, я ничего не могу с этим поделать!

– Нет, можешь. Просто ты упрямый. Думаешь, что можешь быть не таким, как все. Ты всегда так думал и всегда останешься таким. Но подумай, во что превратится мир, если все вдруг захотят того же, что и ты?

Бенджамин промолчал – ее доводы ничего не стоили, и продолжать разговор было бессмысленно. С тех пор пропасть меж ними только росла. Он не мог понять, как вообще когда-то мог поддаться ее чарам.

Они отдалились друг от друга еще больше, когда новый век начал набирать обороты – жажда развлечений в нем лишь усиливалась. Он был гостем каждой балтиморской вечеринки, танцуя с замужними красавицами, всю болтал с еще неопытными, но уже популярными светскими девицами, наслаждаясь их обществом, а его немолодая жена, как дурное знамение, была в кругу

сопровождающих их пожилых дам и надменно следила за ним то с недовольством, то с торжественно-загадочным презрением.

«Глядите! Как жаль, что такой молодой красавец женат на этой сорокапятiletней женщине! Должно быть, он лет на двадцать моложе ее!» – слышались голоса сочувствующих горожан, забывших (людям свойственно забывать), что четверть века назад предметом их сплетен была та же самая несообразная пара.

В собственном доме Бенджамин чувствовал себя все более несчастным, компенсируя это все новыми увлечениями. Он стал играть в гольф, добившись значительных успехов. Занялся танцами: в 1906-м ему не было равных в бостонском степе, в 1908-м его признали мастером матчиша, а в 1909-м он танцевал касл-уок так, что от зависти лопалась вся городская молодежь.

Его хобби, конечно же, мешали ему управлять компанией, но он работал в торговле скобяными изделиями уже двадцать пять лет и полагал, что вскоре сможет передать бразды правления в руки сына Роско, недавно окончившего Гарвард.

Их с сыном теперь часто путали. Это нравилось Бенджамину – он уже забыл, какой страх овладел им по возвращении с испано-американской войны, и принимал то, как он выглядит, с наивной радостью. В его бочке меда, впрочем, была своя ложка дегтя – он терпеть не мог выходить в свет с женой. Хильдегарде было уже почти пятьдесят, и рядом с ней он ощущал нелепость всего происходящего.

## IX

Однажды, в сентябре 1910-го, спустя несколько лет после того, как управление компанией по оптовой торговле скобяными товарами «Роджер Баттон и партнеры» перешло к юному Роско Баттону, молодой человек лет примерно двадцати поступил на первый курс Гарвардского университета в Кембридже. Он не стал делать никаких опрометчивых заявлений, скрывая свой истинный возраст или упоминая тот факт, что десять лет тому назад его сын стал выпускником того же самого учебного заведения.

После зачисления почти сразу его назначили на должность старосты, отчасти потому, что он был чуть старше остальных первокурсников, средний возраст которых составлял восемнадцать лет.

Но ключ к его успеху лежал в великолепном футбольном матче с Йельским колледжем, где он играл так безжалостно, решительно и с такой холодной яростью, что на его счету к концу матча было семь тачдаунов и четырнадцать мячей в воротах соперника, а также один игрок Йеля, которого унесли с поля в бессознательном состоянии. Тогда вся слава досталась ему одному.

Странным было то, что к третьему курсу он едва сумел войти в состав команды. Тренеры говорили, что он похудел и как будто бы стал ниже ростом. Тачдаунов он уже не делал, и в команде его оставили лишь потому, что одно его присутствие должно было посеять ужас и смятение среди игроков йельской команды.

На старших курсах в команду его не взяли. Он так похудел и стал таким маленьким, что однажды какие-то второкурсники приняли его за новенького, отчего он испытал невероятное унижение. Он стал чем-то вроде местного феномена – старшекурсник, которому едва можно было дать шестнадцать, и теперь его одноклассники казались ему все более приземленными. Учеба давалась ему тяжело – он чувствовал, что уже не справляется со сложными науками. Его ушей достигли разговоры других учеников о знаменитой подготовительной школе Сент-Мидас, и после выпуска он вознамерился поступить туда, где он сможет спокойно учиться среди своих сверстников.

Выпустившись из Гарварда в 1914-м, он отправился в родной Балтимор с дипломом за пазухой. Хильдегарда переехала в Италию, и Бенджамин стал жить с Роско, своим сыном. Хоть тот и встретил его довольно тепло, сердечности в нем не чувствовалось, и у Бенджамина, мечтательно слонявшегося по дому, не раз возникало ощущение того, что он попросту мешает ему жить. Роско уже женился, и ему не нужны были никакие скандальные сплетни о его семье.

Бенджамин уже не пользовался популярностью у юных дебютанток и студенток и в основном сидел без дела, общаясь лишь с тремя-четырьмя пятнадцатилетними соседскими мальчишками. Его вновь посетила мысль об учебе в школе Сент-Мидас.

– Послушай, – обратился он как-то раз к Роско, – помнишь, я говорил о том, что хочу пойти в подготовительную школу?

– Ну так иди, – отозвался сын. Он был не в восторге от отцовской затеи и не хотел продолжать разговор.

– Одному мне не справиться, – жалобно продолжал Бенджамин. – Проводишь меня туда?

– У меня времени нет, – огрызнулся Роско. Сощурившись, он исподлобья взглянул на отца.

– И кстати, – добавил он, – лучше бы тебе завязывать со всем этим. Хватит уже. Ты должен... должен...

Он покраснел, силясь подобрать слова.

– Ты должен стареть, как все остальные, эти твои шутки уже чересчур далеко зашли! Это совсем не смешно. Возьми себя в руки!

Бенджамин смотрел на него глазами, полными слез.

– И еще, – продолжал Роско, – когда к нам будут приходить гости, я не хочу, чтобы ты называл меня по имени. Обращайся ко мне «дядя», ясно? Глупо, когда пятнадцатилетний мальчишка зовет меня «Роско». А вообще, теперь будешь звать меня «дядей» все время, быстрее привыкнешь.

Он вновь окинул отца неодобрительным взглядом, а затем отвернулся.

Х

Разговор был окончен, и Бенджамин понуро поплелся наверх, где вновь уставился в зеркало. Он не касался бритвы уже три месяца, но на лице его не было ничего, кроме белесого пуха, не стоившего внимания. Когда он вернулся домой из Гарварда, Роско предложил ему носить очки и фальшивые бакенбарды, и ему показалось на миг, что фарс времен его детства повторяется вновь. Но от

бакенбардов у него чесалось лицо, и он стыдился носить их. Доведенный до слез, он пожаловался Роско, и тот нехотя отступился.

Бенджамин открыл книгу рассказов «Бойскауты Бимини-Бэй» и принялся за чтение. Но он постоянно думал о войне. В прошлом месяце Америка присоединилась к союзным войскам, и ему снова хотелось пойти на фронт, но призыв начинался с шестнадцати лет, а он выглядел моложе. На самом деле, если бы даже ему было пятьдесят семь – таков был его настоящий возраст, – ему бы отказали.

В дверь постучали: явился дворецкий, а в руках у него было письмо с большой печатью в углу, адресованное господину Бенджамину Баттону. Он с нетерпением вскрыл его и прочел: офицеры запаса, участвовавшие в испано-американской войне, призывались на службу с повышением в звании, и его ждала должность бригадного генерала, а также приказ немедленно явиться на призывной пункт.

Взволнованный Бенджамин подскочил от радости. Его мечта сбылась! Он натянул кепи, и десять минут спустя уже был в магазине одежды на Чарлз-стрит, неровным дискантом потребовав у клерка, чтобы тот снял с него мерки для военной формы.

– Что, сынок, в солдата поиграть захотел? – лениво спросил тот.

Бенджамин покраснел.

– Вот еще! Мало ли чего я хочу, – гневно отрезал он. – Я – Баттон, живу на Маунт-Вернон, и кому, как не вам, знать, что я еще как гожусь для военного дела.

– Ну, если не ты, – с сомнением оглядел его клерк, – то папаша твой точно годится. Будь по-твоему.

Он снял с Бенджамина мерки, и неделю спустя его униформа была готова. Непросто было получить генеральские знаки различия – продавец настаивал, что значок Юношеской Ассоциации Христиан куда красивее и с ним намного веселее играть.

Ничего не сказав Роско, однажды ночью он выбрался из дома, сев на поезд до Кэмп-Мосби в Южной Каролине, где была расквартирована его пехотная бригада. Душным апрельским днем он расплатился с таксистом, довезшим его до ворот лагеря, и обратился к часовому.

– Распорядитесь, чтобы кто-нибудь забрал мой багаж! – бросил он.

Часовой укоризненно оглядел его.

– Скажи-ка, куда это ты собрался в генеральской форме, сынок?

Бенджамин, ветеран испано-американской войны, сверкнул глазами, но ломающийся голос подвел его.

– Слушай внимательно! – попытался рявкнуть он, но ему не хватило дыхания. Вдруг он увидел, что солдат щелкнул каблуками, взяв винтовку на изготовку. Бенджамин удовлетворенно улыбнулся, но, едва он оглянулся, улыбка сползла с его лица. Часовой вытянулся во фронт не от его окрика, а от того, что к воротам на коне подъехал величественного вида полковник артиллерии.

– Полковник! – пискнул Бенджамин.

Полковник, поравнявшись с ним, натянул поводья, спокойно глядел на него сверху вниз, и в глазах его блеснул огонек.

– Ты чей, паренек? – миролюбиво поинтересовался он.

– Скоро узнаете, что, черт возьми, я за паренек! – яростно огрызнулся Бенджамин. – Немедленно спешиться!

Полковник загоготал.

– Что, генерал, сами в седло сядете?

– Смотрите! – отчаянно вскричал Бенджамин. – Вот, читайте! – и он сунул свои бумаги под нос полковнику.

Полковник принялся за чтение, и у него глаза на лоб полезли.

– Откуда у тебя эти бумаги? – требовательно спросил он, пряча их за пазухой.

– Я получил их от правительства, как вам скоро станет известно!

– Пойдем-ка со мной, – загадочно протянул полковник. – Я отведу тебя в штаб, там и поговорим. Идем.

Полковник взял лошадь под уздцы, направляясь в штаб, и Бенджамину ничего не оставалось, кроме как следовать за ним со всем возможным достоинством, в душе помышляя о скорой мести.

Но скорой мести не случилось. Зато очень скоро, спустя всего два дня, его сын Роско, взмыленный и злой после дальней дороги, приехал из Балтимора, препроводив рыдающего генерала, оставшегося без униформы, обратно домой.

## XI

В 1920 году у Роско родился первенец. В праздничной суматохе, однако, никто не счел нужным заметить, что чумазый мальчуган лет десяти, игравший в солдатики и с миниатюрным цирком, приходился новорожденному дедушкой.

Мальчишку, на свежем, веселом лице которого порой мелькала тень печали, в доме никто не обижал, но для Роско Баттона сам факт его существования был источником невыносимых мук. Ему казалось, что его отец, упорно не старевший в свои шестьдесят, вел себя не как «энергичный жеребец», как любил выражаться Роско, а совершенно непонятным и неправильным образом. Стоило ему задуматься обо всем этом дольше, чем на полчаса, как он чувствовал, что сходит с ума. Он верил в то, что энергичные люди должны ощущать себя молодыми, но не становиться бесполезными – не до такой же степени! На этом его размышления обычно прерывались.

Спустя еще пять лет малыш вырос настолько, что уже мог играть с маленьким Бенджамином под присмотром няньки. Роско отвел их в детский сад в один день, и Бенджамин обнаружил, что играть с полосками цветной бумаги, плести из нее коврики, цепочки и разнообразные красивые узоры лучше всего на свете.

Как-то раз он провинился, и его отправили в угол, где он стоял и плакал, но по большей части он весело проводил время в большой, яркой комнате, где сквозь оконные стекла светило солнце и нежная рука мисс Бэйли нет-нет да и трепала его по взъерошенным волосам.

Через год сына Роско перевели в старшую группу, а Бенджамин остался в средней. Он был так счастлив! Иногда он слышал, как другие дети говорили о том, кем станут, когда вырастут, и тогда лицо малыша омрачалось, словно он понимал, что ему это не суждено.

Так неспешно проходил день за днем. Его перевели в младшую группу, и теперь он уже не понимал, зачем нужны эти яркие маленькие бумажные полоски. Он все время плакал, так как другие мальчики были больше его и он их боялся. Воспитательница что-то говорила ему, но он не мог понять ее, как ни пытался.

Его забрали из детского сада. Нянька Нана в накрахмаленном клетчатом платье стала центром его маленького мира. В ясную погоду они ходили гулять в парк, и Нана, показывая пальцем на огромное, серое чудище, называла его «слоник», а Бенджамин повторял за ней, и вечером, когда она переодевала его, чтобы уложить спать, он снова и снова говорил ей «слоны, слоны, слоны». Иногда она разрешала ему попрыгать на кровати, и это очень забавляло его – он садился и сразу вскакивал на ноги, а если он долго прыгал и говорил «а-а-а-а», получался смешной прерывистый звук.

Он любил играть с большой тростью: брал ее с вешалки для шляп, стучал по столам и стульям, приговаривая «дерись, дерись, дерись». Если в доме были гости, пожилые дамы наперебой кудахтали над ним, а он с интересом наблюдал за ними; девушки пытались поцеловать его, и он со скучающим видом поддавался. Когда же в пять часов кончался очередной длинный день, Нана вела его наверх, где с ложечки кормила овсянкой и вкусным пюре.

Его детский сон ничто не тревожило: ни воспоминания о прекрасных днях учебы в колледже, ни о тех блистательных годах, когда он покорял сердца красавиц. Для него существовала лишь его уютная белая кровать, и еще Нана, а еще иногда к нему приходил какой-то человек, а еще был большой оранжевый шар, на который указывала Нана, когда он в сумерках ложился спать, называя его «солнце». Когда солнце исчезало, его веки тяжелели – но снов он не видел.

Все, что осталось в прошлом – безумный шторм высоты Сан-Хуан во главе отряда; первые годы брака, когда до заката он работал в шумном городе ради юной Хильдегарды, которую любил; дни, когда в ночи он сидел и курил вместе с дедушкой в старом, мрачном доме Баттонов на Монро-стрит, – все это исчезло из его памяти, как призрачный сон, как будто ничего и не было. Он уже ничего не помнил.

Он не помнил, холодным или теплым было молоко, которым его поили в прошлый раз, или как проходил день за днем – теперь для него существовала лишь его колыбель и Нана. Затем он забыл и это. Если он был голоден, он начинал плакать – вот и все. День сменялся ночью, и он дышал, а вокруг звучала невнятная, едва различимая речь, и были слышны какие-то еле уловимые запахи, и свет сменялся тьмой.

Наконец осталась лишь тьма – его белая колыбелька, неясные лица, сладкий вкус теплого молока, – все растворилось в ней, все исчезло.

Богатый мальчик

Красная книга

(январь и февраль 1926)

I

Начни с особенного, и, не успев этого понять, ты создашь нечто типичное, начни с типичного – и не создашь ничего. Все мы слегка чудные, чуднее того, что готовы продемонстрировать кому-либо или самим себе. Когда я слышу человека, объявляющего себя «обычным, честным, открытым малым», я чувствую глубокую уверенность в каком-то определенном и, возможно, ужасном пороке, который он скрывает, и его торжественные заверения в собственной нормальности, и честности, и открытости всего лишь способ напомнить себе об этом укрывательстве.

Так что не существует ничего типичного, ничего обобщенного. Есть богатый мальчик, и это история о нем, а не о ему подобных. Всю свою жизнь я провел среди его братьев, но только он стал моим другом. Кроме того, если бы я писал о его братьях, я должен был начать с разоблачения всей той лжи, которую бедные говорят про богатых, а богатые сами про себя. Вместе они создали настолько дикую нелепость, что, когда мы берем в руки книгу о богачах, то некий инстинкт готовит нас к чему-то нереальному. Даже самые умные и бесстрастные наблюдатели жизни создали страну богатых настолько же нереальной, как и сказочную страну.

Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. Они рано познают, что такое обладание и удовольствие, и это делает с ними что-то, делает их мягкими там, где мы тверды, и циничными там, где мы полны доверия, тем особым образом, который очень трудно понять в том случае, если ты не родился очень, очень богатым. Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас, потому что мы должны сами находить и получать что-то хорошее от жизни. Даже когда они глубоко погружаются в наш мир, начиная тонуть в нем, они продолжают считать себя лучше нас. Они другие. Я могу описать молодого Энсона Хантера единственным способом, представив его чужестранцем, и я буду упрямо держаться за эту точку зрения. Но если я приму его точку зрения хотя бы на мгновение, я пропал – и мне нечего будет показать, кроме нелепого надуманного фильма.

## II

Энсон был старшим из шестерых детей, которым было уготовано однажды разделить состояние в 15 миллионов долларов. Сознательного возраста – кажется, это должно быть семь лет – он достиг в начале века, когда бесстрашные молодые женщины уже скользили вдоль Пятой авеню в электромобилях. В те дни у него с братом была английская гувернантка, которая говорила на очень чистом, очень хорошем английском, так что оба мальчика говорили в точности как она – все их слова и предложения были гладкими и чистыми и не бежали вприпрыжку, как у нас. Они не говорили в точности как английские дети, но переняли акцент, присущий великосветским людям, живущим в Нью-Йорке.

Летом всех шестерых детей перевозили из дома на 71-й улице в большое поместье на севере Коннектикута. Это не было модным местечком, отец Энсона

хотел познакомить детей с этой стороной жизни как можно позже. Он был человеком, в чем-то превосходившим свое сословие, которое составляло основу нью-йоркского общества, и свое время, полное снобизма и утрированной вульгарности Позолоченного века, и он хотел, чтобы его сыновья усвоили привычку концентрироваться, имели здоровое сложение и выросли правильными успешными людьми. Они с женой приглядывали за сыновьями, пока это было возможно, до того момента, когда двое старших мальчиков отправились в школу, – а это вообще довольно затруднительно в больших домах. Намного проще это делать в домах маленьких или средних, наподобие того, в котором прошло мое детство, – я никогда не выходил за пределы слышимости маминого голоса, ощущения ее присутствия, ее одобрения или неодобрения.

Впервые Энсон ощутил свое превосходство, когда увидел отличие в отношении к нему местных жителей. Родители мальчиков, с которыми он играл, всегда спрашивали о его отце и матери и приходили в плохо скрываемый восторг, когда их собственных детей приглашали в дом Хантеров. Он принимал это как естественный порядок вещей, и определенное нетерпение, с которым он относился ко всем компаниям, в которых не занимал центральное место – с точки зрения денег, положения или авторитета, – осталось с ним до конца жизни. К соревнованию с другими за превосходство он относился с презрением, поскольку ожидал, что оно достанется ему само по себе, и когда этого не происходило, он замыкался в своей семье. Ему было достаточно семьи, на Востоке до сих пор деньги были чем-то феодальным, кланообразующим. На снобском Западе деньги разделяли семьи, заставляли их формировать разные слои общества.

Когда Энсон отправился в Нью-Хейвен в восемнадцать, он был высоким юношей крепкого телосложения со здоровым цветом лица, обязанный этим упорядоченной жизни, которую он вел в школе. У него были светлые волосы, растущие в забавном беспорядке, и нос с горбинкой – эти два обстоятельства не позволяли ему заслужить звание красавчика – но у него было обаяние уверенности в себе и слегка грубоватая манера поведения, так что люди из высшего общества, сталкиваясь с ним на улицах, без объяснений узнавали в нем богача и ученика одной из лучших школ. Тем не менее его столь явное превосходство не позволило ему иметь успех в колледже: независимость была принята за эгоизм, а отказ соответствовать стандартам Йеля с надлежащим почтением принижал тех, кто старался им соответствовать. Итак, задолго до выпуска он начал переносить центр своей жизни в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке он был дома – там был его личный дом со «слугами, которых вы нынче больше нигде не найдете» – и его собственная семья, в которой благодаря чувству юмора и умению устраивать дела он стремительно становился центром, и вечера дебютанток, и правильный мир мужских клубов, и иногда случающиеся шумные попойки с изысканными девушками, которых Нью-Хейвен видел только с пятого ряда. Его собственные стремления были весьма традиционны – они включали даже безупречную тень женитьбы, которая когда-нибудь случится, – но они отличались от желаний большинства молодых людей тем, что над ними не витал туман идеализма или иллюзий. Энсон полностью принимал мир больших денег и большой экстравагантности, мир разводов и разврата, мир снобизма и привилегий. Жизнь большинства из нас закончится компромиссом – его жизнь с этого началась.

Мы с ним впервые встретились поздним летом 1917 года, когда он только что покинул Йель и, как и большинство из нас, был подхвачен истерией войны. В сине-зеленой форме военно-морской авиации он прибыл в Пенсаколу, где гостиничные оркестры играли «Прости, дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с девушками. Он всем нравился, и, несмотря на то что он водился с выпивохами и был не самым хорошим пилотом, даже инструкторы относились к нему с определенной долей уважения. Он часто заводил с ними долгие разговоры в своей уверенной логичной манере, разговоры, которые заканчивались тем, что он вытаскивал себя, а чаще другого офицера из какой-то надвигающейся заварушки. Компанейский, пошловатый, алчущий удовольствий – и мы все были изумлены, когда он влюбился в консервативную подходящую девушку.

Ее звали Паула Леджендр, темноволосая серьезная красотка откуда-то из Калифорнии. У ее семьи была зимняя резиденция где-то за пределами города, и, несмотря на свою чопорность, она была невероятно популярна. Существует целая категория мужчин, чей эгоизм не приемлет в женщине чувства юмора. Но Энсон к ним не относился, и я не мог понять притягательности ее «искренности» – это было то, что ее характеризовало, – для его пытливого и в чем-то саркастического ума.

Так или иначе, но они полюбили друг друга – и на ее условиях. Он больше не участвовал в сумеречных посиделках в баре «Де Сот», и, где бы их ни замечали, они всегда были вовлечены в долгий, серьезный разговор, который продолжался уже несколько недель. Много позже он рассказал мне, что эти беседы были не чем иным, как обменом незрелыми и порой бессмысленными утверждениями.

Эмоциональное содержание, которое постепенно заполняло эти диалоги, произрастало не из слов, а из невероятной серьезности, с которой их произносили. Это было наподобие гипноза. Часто его прерывали, уступая выхолощенному юмору, который мы называем весельем, но наедине разговор продолжался, торжественный и серьезный настолько, чтобы дать им ощущение единства чувства и мысли. Они стали негодовать из-за любых прерываний, перестали откликаться на комичность жизни и даже на умеренный цинизм своих сверстников. Они были счастливы, только когда диалог продолжался, и купались в его серьезности, как в янтарном сиянии открытого пламени. Ближе к концу все же возникала пауза, которой они не противились, и эта пауза была вызвана страстью.

Как это ни странно, Энсон был так же поглощен диалогом, как и она, и так же до глубины души взволнован, но в то же время он понимал, что с его стороны многое не было искренним, а с ее – слишком простым. Поначалу он презирал и ее эмоциональную незрелость тоже, но любовь сделала ее глубже и помогла расцвести, так что ни о каком презрении речи больше не шло. Он чувствовал, что если бы он смог войти в теплую безопасную жизнь Паулы, то был бы счастлив. Долгая подготовка к диалогу исключала любую напряженность, и он научил ее тому, что сам узнал от более авантюрных женщин, и это вызывало у нее поистине священный восторг. Однажды вечером после танцев они решили пожениться, и он написал матери длинное письмо о своей избраннице. На следующий день Паула рассказала, что она богата и владеет состоянием более миллиона долларов.

### III

Это было в точности как если бы они сказали: «У каждого из нас ничего нет, и мы будем бедны вместе», только, к счастью, они были богаты. У обоих появилось одно и то же ощущение приключения. Тем не менее, когда Энсон должен был уехать в апреле и Паула с матерью сопровождали его на Север, положение его семьи в Нью-Йорке и их образ жизни произвели впечатление. Находясь наедине с Энсоном в комнатах, где он играл мальчиком, она была преисполнена приятным ощущением безопасности и заботы. Фотографии Энсона в шапочке выпускника начальной школы, Энсона верхом с возлюбленной из давно забытого лета, Энсона в толпе шаферов и подружек невесты со свадьбы заставили ее почувствовать ревность к той жизни, которую он вел до встречи с ней, и настолько полно его значительная личность вобрала эти проявления, что ею полностью завладела мысль о незамедлительной свадьбе, чтобы вернуться

в Пенсаколу, уже будучи его женой.

Но о немедленной свадьбе речи не шло, даже помолвка должна оставаться секретом до окончания войны. Когда она осознала, что до конца отпуска осталось всего два дня, ее неудовлетворенность выкристаллизовалась в намерение заставить его чувствовать то же нетерпение, что и она сама. Они ехали на загородный ужин, и она решила поставить вопрос ребром этим же вечером.

С ними в «Ритце» с некоторых пор жила кузина Паулы, закрытая хмурая девушка, которая любила Паулу, но слегка завидовала ее выдающейся помолвке. Пока Паула, опаздывая, одевалась, ее кузина, которая не была приглашена на вечеринку, поймала Энсона в гостиной их номера.

Энсон встречался с друзьями в пять часов, где спокойно и ни от кого не скрываясь выпивал в течение часа. В нужный момент он ушел из Йельского клуба, и шофер его матери отвез его в «Ритц», однако его обычная устойчивость к алкоголю немного подвела, и в жарко натопленной комнате у него внезапно закружилась голова. От осознания этого он удивился и одновременно был смущен.

Кузине Паулы было двадцать пять лет, но она была невероятно наивна и сначала не смогла понять, что происходит. Она никогда не встречалась с Энсоном до этого момента и была ошарашена, когда он стал бормотать что-то несусветное и чуть было не сел мимо стула, но до появления Паулы до нее так и не дошло, что тот запах, который она приняла за запах свежеччищенной униформы, на самом деле был запахом виски. Однако Паула поняла это сразу, как только вошла; и ее единственной мыслью было увести Энсона подальше до того, как ее мать увидит его, кузина догадалась по ее взгляду.

Когда Паула и Энсон наконец добрались до лимузина, внутри обнаружили двое мужчин, оба спали; именно с ними Энсон выпивал в Йельском клубе, и они также намеревались поехать на вечеринку. Он полностью забыл о том, что они в машине. По дороге в Хэмпстед они проснулись и стали петь. Некоторые из песен были довольно грубыми, и хотя Паула и пыталась смириться с тем, что Энсон может позволить себе небольшие словесные злоупотребления, ее губы сжимались от стыда и отвращения.

Кузина, оставшаяся в отеле, смущенная и взволнованная, обдумала случившееся и затем вошла в спальню миссис Леджендр со словами:

– Разве он не забавный?

– Кого ты считаешь забавным?

– Мистера Хантера. А что? Он кажется таким забавным.

Миссис Леджендр пристально на нее посмотрела.

– И что же в нем забавного?

– Он сказал, что он француз. Я этого не знала.

– Это какой-то абсурд. Ты, должно быть, неправильно его поняла. – Она улыбнулась – Это была шутка.

Но кузина упрямо покачала головой.

– Нет. Он сказал, что вырос во Франции. И еще сказал, что не знает ни слова по-английски и поэтому не может разговаривать со мной. И он действительно не мог!

Миссис Леджендр нетерпеливо отвернулась в тот момент, когда кузина задумчиво добавила:

– Однако, возможно, это было из-за того, что он был очень пьян, – и вышла из комнаты.

Этот забавный рассказ тем не менее был правдой. Энсон, обнаружив, что не может контролировать свой голос, прибегнул к неожиданному выходу, объявив себя неспособным говорить по-английски. И еще много лет впоследствии он любил пересказывать эту часть истории, и каждый раз она заканчивалась заливистым смехом, который вызывали у него эти воспоминания.

Пять раз в течение следующего часа миссис Леджендр пыталась дозвониться до Хэмпстеда. Когда ей наконец это удалось, пришлось ждать еще десять минут, пока она услышала в трубке голос Паулы.

- Кузина Джо сказала мне, что Энсон нетрезв.

- О нет...

- О да. Кузина Джо сказала именно это. Он назвался ей французом, и упал со стула, и вел себя очень странно. Я не хочу, чтобы ты возвращалась домой с ним.

- Мама, он в полном порядке. Пожалуйста, не волнуйся о...

- Но я волнуюсь. Я думаю, это все ужасно. Я хочу, чтобы ты пообещала мне не приходить с ним домой.

- Я позабочусь обо всем, мама.

- Я не хочу, чтобы ты возвращалась с ним домой.

- Хорошо, мама. До свидания.

- Будь осторожна, Паула. Попроси кого-нибудь проводить тебя.

Паула медленно отодвинула трубку от уха и положила ее на рычаг. На ее лице появилось выражение безнадежной досады. Энсон спал мертвецким сном в одной из спален наверху, в то время как ужин внизу с грехом пополам подходил к концу.

Часовая поездка немного привела его в чувство, и он заявил о своем приходе уже не таким выдающимся образом, что дало Пауле надежду на то, что вечер будет не окончательно испорчен после всего произошедшего, однако два неосмотрительных коктейля перед ужином завершили катастрофу. Он громко и местами переходя на оскорбления, что-то рассказывал собравшимся на вечеринке в течение пятнадцати минут, а затем молча сполз под стол, совсем как пьяница на старой репродукции. Однако в отличие от репродукции в этой ужасной ситуации не было ничего забавного. Никто из

присутствующих молодых девушек не сделал ни единого замечания о произошедшем инциденте, который, казалось, заслуживал только молчания. Его дядя и двое других мужчин затащили его наверх, и только после этого Паула позвонила домой.

Спустя час Энсон проснулся в густом тумане нервной агонии, сквозь который он, спустя мгновение, ощутил присутствие своего дяди Роберта, стоящего у двери.

- ...Я спросил: тебе лучше?

- Что?

- Тебе получше, старина?

- Я чувствую себя ужасно, - сказал Энсон.

- Я дам тебе кое-что. Если сможешь проглотить, то уснешь.

С усилием Энсон спустил ноги с кровати и встал.

- Со мной все в порядке, - глухо сказал он.

- Тихо, тихо.

- Я думаю, что стакан бренди поможет мне спастись вниз.

- О нет.

- Да, мне поможет только это. А сейчас я в порядке. Полагаю, я в...

- Все решили, что на тебя повлияла погода, - сказал его дядя неодобрительно. - Но не волнуйся об этом. Шуйлер вообще не появлялся. Он вырубился прямо в раздевалке клуба «Линкс».

Безразличный к любому мнению, кроме мнения Паулы, Энсон тем не менее решил спасти обломки этого вечера, но, появившись после холодного душа, он

обнаружил, что большая часть гостей уже разошлась. Паула немедленно встала, готовая ехать домой.

В лимузине прерванный серьезный разговор продолжился. Она знала, что он иногда выпивает, принимала это, но никак не ожидала подобного поведения, и ей даже кажется, что после всего пережитого они не очень хорошо подходят друг другу. Их представления о жизни слишком различаются, и так далее. Когда она закончила говорить, настала очередь Энсона, и он говорил очень рассудительно и трезво. Затем Паула сказала, что ей нужно еще раз все обдумать, она не будет принимать решение сегодня же, и она вовсе не злится, просто ей ужасно жаль. Она не сможет позволить ему зайти в отель вместе с ней, но, перед тем как выйти из машины, она потянулась и безрадостно поцеловала его в щеку.

Следующим днем у Энсона состоялся долгий разговор с миссис Леджендр, Паула тем временем сидела и молча слушала. Было решено, что Пауле потребуется некоторое время на размышления о том, что произошло, и позже, если мать и дочь решат, что так будет лучше, они последуют за Энсоном в Пенсаколу. Со своей стороны он принес искренние извинения с чувством собственного достоинства – и на этом все завершилось. Имея на руках все карты, миссис Леджендр была не в состоянии воспользоваться преимуществами. Он не давал обещаний, не выказал никакого раскаяния и только произнес несколько глубокомысленных замечаний о жизни, которые в конце концов позволили ему ощутить собственное моральное превосходство. Когда они приехали на Юг тремя неделями позже, ни Энсон в своем удовлетворении, ни Паула в облегчении от воссоединения не осознавали, что психологический момент был упущен навсегда.

#### IV

Он подавлял и одновременно привлекал ее, и при этом наполнял тревогой. Смущенная сочетанием твердости и ребячества, сентиментальности и цинизма – несоответствие, которое было чересчур тяжелым для ее простодушного ума, – Паула привыкла думать о нем как о двух разных людях. Когда они были наедине, на официальном приеме или рядом с подчиненными, ее наполняла огромная гордость за ощущение силы и привлекательности от его присутствия, покровительственного и понимающего характера.

В другой компании ей становилось не по себе, когда то, что было настоящей светскостью без снобистских замашек, показывало себя с другой стороны. Другая сторона была грубой, с балаганным чувством юмора и пренебрегающая всем, кроме удовольствий. На какое-то время рассудок заставлял ее избегать его, даже вовлек ее в короткий тайный роман с давним поклонником, но безрезультатно – после четырех месяцев обволакивающей со всех сторон жизненной энергии Энсона остальные мужчины казались его бледным подобием.

В июле он получил приказ уехать за границу, и их нежность и желание достигли крещендо. Паула рассматривала возможность скоропалительной свадьбы и отказалась от этой мысли только потому, что теперь к его дыханию всегда примешивался запах коктейля, а мысли о вечеринке заставляли ее чувствовать себя больной от страха. После отъезда она писала ему длинные письма, полные сожалений о днях любви, которые они теряют из-за ожидания. В августе самолет Энсона разбился над Северным морем. Его подобрал эсминец после ночи, проведенной в холодной воде, и отправил в госпиталь с пневмонией, перемирие было подписано до того, как его окончательно отправили домой.

Потом, получив еще один шанс и не имея никаких материальных преград, загадочное столкновение их темпераментов возникло вновь, осушая слезы и поцелуи, приглушая голоса, заставляя сердца стучать тише, и в их распоряжении остались только старые добрые письма. Однажды днем репортер светской хроники прождал около дома Хантеров почти два часа, чтобы получить подтверждение состоявшейся помолвки. Несмотря на отрицания Энсона, первым абзацем в статье было: «постоянно замеченные в обществе друг друга в Саусхэмптоне, Хот-Спрингс и Тукседо-Парк». Однако их серьезные разговоры переросли в продолжительные ссоры, и дело чуть было не закончилось разрывом. Энсон взял привычку постоянно напиваться, и из-за этого он даже опоздал на помолвку, а Паула тем временем стала требовать от него определенного поведения. Его отчаяние было беспомощно перед лицом его гордости и знания самого себя: помолвка была окончательно расторгнута.

«Моя самая дорогая... – так теперь начинались его письма. – Моя самая дорогая, любимая, когда я проснулся сегодня посреди ночи и осознал, что все кончено, я почувствовал, что хочу умереть. Я не могу больше продолжать жить. Возможно, встретившись этим летом, мы еще раз обо всем поговорим и примем другое решение, мы были так возбуждены и огорчены в тот день, и я чувствую, что не смогу прожить жизнь до конца без тебя. Ты говоришь о каких-то других людях. Разве ты не знаешь, что для меня нет никого, кроме тебя...»

Паула, путешествуя по Востоку, иногда вскользь упоминала свои развлечения, чтобы вызвать его интерес. Но Энсон был слишком проницательным для того, чтобы удивляться. Когда в ее письмах проскальзывали мужские имена, он чувствовал даже большую уверенность в ней и легкое пренебрежение, он всегда был выше подобных вещей. Но при этом он продолжал надеяться, что однажды они поженятся.

Тем временем он рьяно погрузился в блеск и мишуру развлечений послевоенного Нью-Йорка, стал вхож в маклерскую контору, присоединился к полудюжине клубов, допоздна танцевал и существовал в трех мирах: своем собственном, в мире выпускников Йеля и в той части полусвета, которая обитает на Бродвее. Но при этом всегда были восемь нерушимых и вдумчивых часов, посвященных работе на Уолл-стрит, где сочетание обширных связей его семьи, острый ум и безграничная энергичность быстро продвинули его вперед. У него был тот редкий ум, состоящий из множества ячеек, иногда он появлялся в офисе отдохнувший и посвежевший, не проспав и часа, но такие случаи были редкостью. И вот в начале 1920-х его общий доход, включая комиссионные, превысил двенадцать тысяч долларов.

По мере того как йельские обычаи уходили в прошлое, он становился все более и более популярной фигурой среди своих одноклассников в Нью-Йорке, популярность эта превзошла даже колледж. Он жил в великолепном доме и имел все возможности для введения молодых людей в другие великолепные дома. Более того, его жизнь уже сейчас была безопасной и устроенной, в то время как у них по большей части все было шатко и ненадежно. Они обращались к нему за поддержкой, испытывая при этом восхищение, и он с готовностью отвечал, получая удовольствие, помогая людям и устраивая их дела.

Теперь в письмах Паулы не было никаких мужчин, но зато в них появилась ранее не замеченная нотка нежности. Из разных источников он слышал, что у нее появился «серьезный кавалер», Лоуэлл Тайер, бостонец высокого достатка и положения, и, несмотря на уверенность в том, что она продолжает любить его, ему пришлось с трудом принять мысль о том, что в конце концов он ее потеряет. За исключением одного жалкого дня, она не была в Нью-Йорке почти пять месяцев, и по мере того, как слухи усиливались, им овладевало все большее желание увидеть ее. В феврале он взял отпуск и поехал во Флориду.

Палм-Бич раскинулся широко и привольно между мерцающим сапфиром озера Уэрт, с вкраплениями домов-лодок, стоящих на якоре, там и здесь, и

великолепным бирюзовым берегом Атлантического океана. Громады отелей «Брейкерс» и «Ройял Пойнсиана» высились как близнецы над ярким песком, и вокруг них теснились клуб «Денсинг Глейд», игорный дом «Бредли» и дюжина модных магазинов с ценами в три раза выше, чем в Нью-Йорке. По решетчатой веранде отеля «Брейкерс» две сотни молодых девушек делали шаг вправо, затем шаг влево, крутились и затем скользили, используя то, что в гимнастике называется двойным шагом, в то время как две тысячи браслетов со звоном скользили вверх-вниз по двум тысячам рук.

В клубе «Эверглейдс» после наступления темноты Паула, Лоуэлл Тайер, Энсон и случайно подвернувшийся четвертый играли в бридж. Энсону казалось, что ее милое серьезное лицо было бледным и усталым. К этому моменту он близко знал ее три года, а в свете она была четыре или пять лет.

– Две пики.

– Сигарету? О, прошу прощения. Пас.

– Пас.

– Я удвою три пики.

В комнате, наполненной дымом, было с дюжину столов. Энсон, встретившись с Паулой глазами, неотрывно смотрел на нее, даже после того как Тайер заметил это.

– Что на кону? – рассеянно спросил он.

Роза на площади Вашингтона, —

нестройно запели молодые люди, сидящие по углам комнаты:

Я задыхаюсь без единого стога

В воздухе этого притона.

Дым лежал плотными пластами, как туман, и открывшаяся дверь наполнила комнату полуразмытыми мистическими силуэтами. Блестящие глазки метались между столов, разыскивая господина Конана Дойля среди англичан, которые притворялись англичанами в вестибюле отеля, как и положено англичанам.

- Хоть ножом режь.

- ...ножом режь...

- ...режь.

В конце игры Паула неожиданно поднялась и заговорила с Энсоном тихим напряженным голосом. Бросив с опаской взгляд на Лоуэлла Тайера, они вышли в дверь и преодолели долгий спуск по каменным ступеням, и спустя мгновение они уже шли, взявшись за руки, по залитому лунным светом пляжу.

- Дорогая, дорогой... - Они без оглядки обнимались, страстно, под прикрытием тени.

...Затем Паула отклонилась назад и позволила его губам произнести то, что она хотела услышать, - она чувствовала, что эти слова были на подходе, пока они целовались. И опять она отклонилась, слушая, но, как только он притянул ее ближе к себе, она поняла, что он не сказал ничего, кроме «дорогая моя», тем глубоким и печальным шепотом, от которого ей всегда хотелось плакать. Робко и покорно ее эмоции отступили, и слезы потекли по лицу, но сердце продолжало кричать: «Попроси меня, ох, Энсон, мой дорогой, попроси же!»

- Паула... Паула!

Эти слова сжали ее сердце, и Энсон, чувствуя, как она дрожит, решил, что эмоций достаточно. Ему больше не нужно было ничего говорить, не нужно посвящать судьбы неясному призраку, не имеющему никаких практических оснований. Почему он должен, когда он может держать, как сейчас, ее в объятиях, ждать неизвестно чего еще год - или вечность? Он думал о них обоих, и о ней даже больше, чем о себе. На мгновение, когда она внезапно сказала, что ей нужно возвращаться в отель, он засомневался, сначала подумав: «Вот он, этот момент», а потом: «Ну уж нет, я подожду, все равно она моя».

Он забыл, что Паула тоже была измотана напряжением этих трех лет. Ее настроение улетучилось в ночи.

Следующим утром он вернулся в Нью-Йорк, наполненный беспокойным неудовольствием. Там его ждала прелестная дебютантка, с которой он познакомился в машине, и в течение двух дней они вместе обедали и ужинали. Сначала он рассказал ей немного о Пауле и придумал какую-то мифическую несовместимость, помешавшую им быть вместе. Девушка была юной, дикой и импульсивной, и ей польстило доверие Энсона. Он мог завладеть ею, даже не добравшись до Нью-Йорка, но, к счастью, он был трезв и сохранял контроль над собой. Позже, в апреле, без предварительных уведомлений, он получил телеграмму из Бар-Харбор, в которой Паула уведомляла его о помолвке с Лоуэллом Тайером и о незамедлительной свадьбе в Бостоне. То, в реальность чего он никогда не мог поверить, наконец происходило на самом деле.

В то утро Энсон до краев налил виски и поехал в офис, где без перерывов работал, страшась того, что произойдет, если он остановится. Тем вечером он, как обычно, вышел в свет, ничего не рассказав о произошедшем, он вел себя очень сердечно и внимательно, много шутил. Но с одной вещью он и там не мог справиться – в течение трех дней в любом месте, в любой компании он внезапно клал голову на руки и начинал рыдать как ребенок.

V

В 1922 году, когда Энсон вместе со своим младшим партнером поехал за границу, чтобы изучить некоторые лондонские займы, стало известно, что его берут в фирму. Ему было 27 лет, он потяжелел, но не обрюзг и обладал манерами человека более старшего возраста. Люди младше и старше его любили и доверяли ему, а матери были спокойны, когда их дочери оказывались под его попечительством, благодаря его манере ставить себя на одну ступень с самыми старшими и наиболее консервативными людьми в любой компании. «Вы и я, – как бы говорил он, – мы едины. Мы-то понимаем».

У него было интуитивное и слегка снисходительное понимание слабостей мужчин и женщин, и, как священник, он больше заботился о поддержании внешнего образа. Утром каждого воскресенья он по традиции проводил уроки в воскресной школе – даже если холодный душ и быстрая смена костюма на строгий пиджак были единственным, что отделяло его от дикой ночи накануне.

Однажды, руководствуясь общим чувством, несколько детей встали из переднего ряда и пересели на последний. Он частенько рассказывал эту историю, и обычно его вознаграждали бурным смехом.

После смерти своего отца он стал фактически главой семьи и взял на себя ответственность за судьбу младших детей. Из-за некоторых сложностей его власть не распространялась на семейную недвижимость, которой управлял его дядя Роберт, добрый от природы, но пристрастившийся к алкоголю любитель скачек.

Дядя Роберт и его жена Эдна были очень дружны с Энсоном и были сильно огорчены, когда его по праву заслуженное превосходство не нашло нужного применения. Он устроил ему членство в городском клубе, попасть в который в Америке было сложнее всего – условием принятия было «участие семьи в строительстве Нью-Йорка» (или, иными словами, семья должна быть богата до 1880 года) – и когда Энсон после принятия пренебрег им в пользу Йельского клуба, дядя Роберт вызвал его на небольшой разговор. Но когда Энсон отказался стать партнером консервативной, хотя и немного запущенной брокерской конторы самого Роберта Хантера, отношения дяди и племянника стали заметно прохладнее. Подобно учителю начальных классов, научившему всему, что знал он сам, Роберт незаметно исчез из жизни Энсона.

В его жизни было так много друзей, но едва ли нашелся бы хоть один, не воспользовавшийся его необычной добротой, и едва ли был кто-то, ни разу не почувствовавший смущения из-за грубых высказываний или привычки напиваться, когда и как ему было угодно. Его беспокоило, когда портачил кто-то другой, а по поводу собственных промахов он только отшучивался. Рассказывая о происходящих с ним странных событиях, он всегда заражал окружающих смехом.

Той весной я работал в Нью-Йорке и частенько встречался с ним за ланчем в Йельском клубе, членство в котором, за временным неимением собственного клуба, обеспечивал мне мой университет. Я прочел о свадьбе Паулы, и однажды днем, когда я спросил его о ней, что-то подвигло его рассказать всю историю. После этого он частенько приглашал меня на семейные ужины в свой дом и вел себя так, как будто между нами были особенно близкие отношения, и я невольно перенял часть его уверенности в этом.

Я обнаружил, что, несмотря на доверие матерей, он не относился покровительственно ко всем девушкам без разбора. Все зависело от девушки, и при малейшем намеке на отсутствие твердости ей приходилось самой о себе заботиться, даже рядом с ним.

– Жизнь сделала из меня циника, – иногда говорил он.

Под жизнью он имел в виду Паулу. Иногда, особенно когда он выпивал, что-то путалось в его голове, и он считал, что она жестоко его бросила.

Этот «цинизм», или же понимание того, что легкомысленные девушки не заслуживают пощады, подтолкнул его к роману с Долли Каргер. В те годы это был не единственный его роман, но именно он глубже всего его затронул и сильно повлиял на его отношение к жизни.

Долли была дочерью печально известного публициста, благодаря женитьбе попавшего в высшее общество. Сама же она выросла в Младшей Лиге, дебютировала в «Плазе» и вступила в Женскую Ассамблею, и только самые почтенные семьи, к которым относились Хантеры, могли усомниться в том, по праву ли она занимала место в свете, так часто ее фотографии мелькали в газетах, привлекая к ней завидного внимания больше, чем к некоторым девушкам, без сомнения его заслуживающим. У нее были темные волосы, красные губы и яркий румянец, чрезвычайно ей шедший, который она, однако, маскировала под слоем бледной розоватой пудры во время своего первого года, проведенного в обществе. Иметь румянец считалось немодно, нужно было демонстрировать викторианскую бледность. Она носила черные строгие костюмы и стояла, держа руки в карманах и слегка подавшись вперед, со сдержанным и чуть насмешливым выражением на лице. Она восхитительно танцевала – и любила это занятие больше, чем что-либо другое, за исключением флирта. С того момента как ей исполнилось десять, она всегда была влюблена, и обычно в кого-то, кто не отвечал ей взаимностью. Те же, кто отвечал – и таких было великое множество, – утомляли ее после первой же короткой встречи, но, несмотря на все свои неудачи, ее сердце оставалось отзывчивым и теплым к тем, с кем она терпела неудачу. Когда она встречала их, то всегда предпринимала еще одну попытку – иногда успешную, чаще нет.

В погоне за недостижимым ей никогда не приходило в голову, что определенное сходство объединяет всех тех, кто отказался любить ее: все они обладали сильной интуицией, которая позволяла заглянуть внутрь и увидеть ее слабость,

слабость, заключенную не в недостатке эмоций, а в недостатке умения ими управлять. Энсон понял это сразу, как только увидел ее, меньше чем через месяц после свадьбы Паулы. Он довольно сильно пил, и на неделю он притворился влюбленным в нее. Затем он грубо ее бросил и забыл об этом – и незамедлительно стал самым главным человеком в ее сердце.

Как и многие девушки того времени, Долли вела себя несдержанно и неосмотрительно. Отсутствие традиционной морали у поколения, бывшего немногим старше, было простым следствием послевоенного желания избавиться от устаревших манер, а Долли была одновременно старше и развязнее, и она увидела в Энсоне две крайности, которые так ищут эмоционально незрелые женщины, – нежелание потакать слабостям, перемежающееся с умением защищать. В его характере она почувствовала одновременно и черты сибарита, и твердый гранитный камень, и эти две черты полностью отвечали всем потребностям ее природы.

Она понимала, что это будет тяжело, но ошиблась в причине: она думала, что Энсон и его семья ожидают более подходящей женитьбы, но она тут же догадалась, что ее преимуществом станет его пристрастие к алкоголю.

Они встретились на большом балу дебютанток, и, по мере того как росло ее страстное увлечение, они все больше и больше времени проводили вместе. Подобно всем матерям, миссис Каргер верила в неукоснительную порядочность Энсона и поэтому позволяла Долли сопровождать его в загородные клубы, расположенные не близко, и в пригородные дома, не вникая особенно в то, чем они там занимаются, и не задавая вопросов по поводу поздних возвращений. Сначала эти объяснения звучали правдоподобно, но приземленные намерения Долли заполучить Энсона вскоре были погребены под лавиной ее эмоций. Поцелуев на заднем сиденье такси уже было недостаточно, и тогда они придумали забавный выход.

Они на некоторое время выпадали из обычного мира и создавали свой собственный мир, в котором выпивка Энсона и пропадания Долли не были бы так заметны и вызвали бы меньше замечаний. Этот мир состоял из меняющихся элементов – из некоторых друзей Энсона по Йелю и их жен, двух или трех молодых брокеров и биржевых маклеров и горстки неприкаянных молодых людей, только-только закончивших колледж, при деньгах и со склонностью пускаться в загулы. Чего не хватало этому миру, так это масштаба, и в качестве компенсации они получили свободу, которую едва ли могли себе позволить.

Более того, они были центром этого мира, который подарил Долли удовольствие честной снисходительности – удовольствие, которым Энсон, вся жизнь которого состояла из снисходительности, predetermined с самого детства, был не в состоянии с ней поделиться.

Он не был в нее влюблен и много раз повторял это на протяжении всей долгой и суровой зимы их романа. К весне ему все наскучило, он захотел обновить свою жизнь каким-то другим способом, кроме того, он понял, что должен либо порвать с ней, либо взять на себя ответственность за определенное обольщение. Выжидающее отношение ее семьи ускорило это решение – однажды вечером, когда мистер Каргер негромко постучал в дверь библиотеки, объявляя, что он оставил бутылку старого бренди в столовой, Энсон почувствовал, что жизнь заманивает его в ловушку. Этой ночью он написал ей короткую записку, в которой сообщил, что уезжает в отпуск и в свете всех обстоятельств им лучше больше не видеться.

Это было в июне. Его семья закрыла дом и переехала за город, поэтому он временно жил в Йельском клубе. Я слышал о его романе с Долли по мере его развития – соленые шуточки о его презрении к женщинам с нестабильной психикой, не заслуживающим места в социальной системе координат, в которую он верил, – и когда той ночью он сказал мне, что определенно с ней расстанется, я был рад. Я встречал Долли то тут, то там и каждый раз ощущал жалость из-за безнадежности ее битвы, к которой примешивался стыд от того, что я знал многое, что было не положено знать. Она была, как принято говорить, «маленькой милашкой», и в этом было определенное безрассудство, которое очаровывало меня. Ее поклонение богине упадка было бы не столь заметно, отдавайся она ему с меньшим чувством, – она готова была пожертвовать всю себя, и я был рад, когда услышал, что эта жертва будет принесена не на моих глазах.

Энсон собирался оставить прощальное письмо у нее дома следующим утром. Это был один из немногих домов, который оставляли незапертым на Пятой авеню, и он знал, что Каргеры, по непроверенной информации, полученной от Долли, отложили путешествие за рубеж, предоставив дочери шанс. Как только он вышел за порог Йельского клуба на Мэдисон-авеню, мимо него прошел почтальон, и он последовал за ним внутрь. Первое же письмо, на которое упал его взгляд, было написано рукой Долли.

Он знал, что это – одинокий и трагичный монолог, полный упреков, мольбы и «а что, если», всех тех извечных интимных подробностей, которые он сам писал Пауле Леджендр когда-то в прошлом, которое казалось другим веком. Схватив письмо вместе с несколькими счетами, он снова достал и открыл его. К его удивлению, это была короткая и отчасти формальная записка, в которой говорилось, что Долли не сможет сопровождать его в поездке за город в этот уик-энд, потому что Перри Халл из Чикаго неожиданно приехал в город. В заключение было сказано, что Энсон сам виноват в случившемся: «Если бы я чувствовала, что ты любишь меня так же сильно, как я люблю тебя, я бы поехала с тобой в любое время и в любое место, но Перри так мил, и он так хочет, чтобы я вышла за него замуж...»

Энсон презрительно усмехнулся, у него уже был опыт с подобными ловушками. Более того, он знал, как Долли поработала над этим планом, возможно, послав за доверчивым Перри и высчитав время его прибытия, – и даже то, как она поработала над этим посланием, чтобы заставить его ревновать, но удержать при этом. Подобно большинству компромиссов, в этом не было ни силы, ни жизнеспособности, а только одно безнадежное отчаяние.

Внезапно он разозлился. Он сел в вестибюле и перечитал записку еще раз. Затем подошел к телефону, позвонил Долли и сказал ясным приказным тоном, что он получил ее письмо и позвонит ей в пять часов, как они заранее и планировали. Едва дождавшись показной неуверенности в ее «возможно, я смогу встретиться с тобой на часок», он повесил трубку и пошел на работу. По дороге он разорвал свое собственное письмо на клочки и выбросил его на улице.

Он не испытывал ревности – она для него ничего не значила, – но ее жалкая уловка разбудила все самое упрямое и эгоистичное в нем. Он усмотрел в этом дерзость кого-то, явно находящегося гораздо ниже его самого, и такое нельзя было спускать с рук. Если ей хотелось знать, кому она принадлежит, она это узнает.

В четверть шестого он был на пороге. Долли была одета для прогулки, и он в молчании выслушал ее послание, гласившее: «Ах, я смогу уделить тебе всего лишь час», которое она начала по телефону.

– Надень шляпку, Долли, – сказал он, – мы немного прогуляемся.

Они поднялись от Мэдисон-авеню до Пятой авеню, и за это время рубашка облепила крупную фигуру Энсона, став влажной из-за сильной жары. Он мало говорил, сухо побранил ее и не сказал ни единого слова любви, но еще до того, как они прошли шесть кварталов, она опять была его, извинялась за записку, предлагая отменить встречу с Перри в качестве расплаты, предлагая сделать все что угодно. Она думала, что он пришел потому, что начинал влюбляться в нее.

«Мне жарко, – сказал он, когда они дошли до 71-й улицы. – Я в зимней одежде. Если я ненадолго зайду в дом и переоденусь, ты сможешь подождать меня внизу? Это займет всего минуту».

Она была счастлива, признание в том, что ему жарко, вообще любой физической факт о нем приводил ее в дрожь. Когда они подошли к обитой железом двери и Энсон вынул ключ, она испытала восторг.

Внизу было темно, и, после того как он поднялся в лифте, Долли подняла занавеску и посмотрела через плотный тюль на дома напротив. Она услышала, как остановился лифт, и, намереваясь немного подразнить его, нажала кнопку и вызвала его вниз. Затем, следуя неосознанному импульсу, она вошла в лифт и поехала на этаж, который должен был быть его.

– Энсон, – позвала она, слегка посмеиваясь.

– Одну минуту... – ответил он откуда-то из спальни. И затем после небольшой паузы. – Теперь ты можешь войти.

Он переоделся и застегивал жилет.

– Это моя комната, – сказал он приветливо. – Как она тебе нравится?

В ее поле зрения попала фотография Паулы на стене, и она уставилась на нее с восхищением, совсем как Паула когда-то рассматривала детские фотографии Энсона пять лет назад. Она кое-что знала о Пауле – какие-то фрагменты, которые она по частям вытянула из Энсона.

Внезапно она подошла к Энсону и подняла руки. Они обнялись. За окном уже сгущались мягкие искусственные сумерки, хотя солнце еще ярко отражалось от крыш домов. Через полчаса в комнате будет совершенно темно. Непредвиденная возможность захватила их, лишила обоих дыхания, и они теснее придвинулись друг к другу. Это было величественно и неизбежно. Все еще держа друг друга в объятьях, они подняли головы, и их взгляды встретились на портрете Паулы, глядящей на них со стены.

Неожиданно Энсон убрал руки и, сев за стол, попытался открыть ящик, используя связку ключей.

- Хочешь выпить? - спросил он грубовато.

- Нет, Энсон.

Он налил себе полстакана виски, проглотил его и затем открыл дверь в холл.

- Пошли, - сказал он.

Долли колебалась.

- Энсон, я поеду с тобой сегодня за город, после всего этого. Ты ведь понимаешь, правда?

- Конечно, - коротко ответил он.

В машине Долли они доехали до Лонг-Айленда, чувствуя себя ближе друг другу, чем когда-либо. Они знали, что должно случиться, и лицо Паулы не должно напоминать о том, чего им не хватало, но, когда они оказались одни этой тихой жаркой ночью на Лонг-Айленде, им было уже все равно.

Имение в Порт-Вашингтоне, в котором они должны были провести этот уик-энд, принадлежало кузине Энсона, которая вышла замуж за сына медного магната из Монтаны. Бесконечная подъездная дорога начиналась у сторожки привратника и петляла между привезенных из-за границы молодых тополей, упираясь в итоге в огромный розовый дом в испанском стиле. Энсон частенько здесь бывал раньше.

После ужина они танцевали в клубе «Линкс». Около полуночи Энсон убедился, что его кузены не собираются уходить раньше двух, и затем объяснил, что Долли устала, поэтому он отвезет ее домой и потом вернется обратно на танцы. Слегка дрожа от волнения, они забрались в арендованный автомобиль и поехали в Порт-Вашингтон. Когда они доехали до сторожки, Энсон остановился, чтобы перекинуться с ночным сторожем парой слов.

- Когда тебе на обход, Карл?

- Да вот прямо сейчас.

- И потом ты будешь здесь, пока все не приедут?

- Да, сэр.

- Очень хорошо. Послушай, если в эти ворота въедет автомобиль, любой, неважно чей, я хочу, чтобы ты немедленно позвонил в дом. - Он вложил в руку Карла пятидолларовую банкноту. - Все ясно?

- Да, мистер Энсон. - Будучи человеком старой закалки, он не позволил себе ни подмигнуть, ни улыбнуться. Все это время Долли провела в машине, слегка отвернувшись в сторону.

У Энсона был ключ. Зайдя внутрь, он сразу же налил им обоим выпить, хотя Долли так и не прикоснулась к стакану, а он тем временем точно определил местонахождение телефона и убедился, что его хорошо слышно из их комнат, расположенных на первом этаже.

Пять минут спустя он постучал в дверь комнаты Долли.

- Энсон?

Он вошел, закрыв за собой дверь. Она была в постели, в волнении приподнявшись на локтях; сев рядом, он взял ее руки в свои.

- Энсон, дорогой.

Он ничего не ответил.

– Энсон... Энсон! Я люблю тебя... Скажи, что ты меня любишь. Скажи это сейчас – разве ты не можешь сказать это сейчас? Даже если это и не так.

Он не слушал. Поверх ее головы он заметил портрет Паулы, висящий на стене.

Он встал и подошел поближе. На раме слабо поблескивало отражение лунного света, а внутри была размытая тень лица, которое, казалось, он не узнавал. В порыве чувств он обернулся и с отвращением уставился на маленькую фигурку на кровати.

– Все это полная глупость, – глухо сказал он. – Я не понимаю, о чем я думал. Я не люблю тебя, и тебе лучше дождаться того, кто действительно будет тебя любить. Я не люблю тебя нисколько, ты понимаешь это?

Его голос треснул, и он стремительно вышел вон. Вернувшись в гостиную, он нетвердой рукой налил себе выпить, и в этот момент открылась входная дверь и вошла его кузина.

– Энсон, что ты здесь делаешь? Я услышала, что Долли нездоровится. – В ее голосе слышалась забота. – Я слышала, что она плохо себя чувствует...

– С ней все в порядке. – Он оборвал ее, повысив голос, чтобы Долли могла услышать их из своей комнаты. – Она просто немного устала и отправилась спать.

Еще долгое время Энсон верил, что господь, пытаясь оградить нас, иногда вмешивается в людские дела. Но Долли Каргер, лежа без сна, уставившись в потолок, никогда больше не верила ни во что.

## VI

Когда Долли следующей осенью вышла замуж, Энсон был в Лондоне по служебным делам. Как и со свадьбой Паулы, все произошло неожиданно, но оказало на него другой эффект. Сначала он решил, что это забавно, и даже с трудом удерживался от смеха, думая об этом. Позже эта мысль повергла его в

депрессию, она заставила его почувствовать себя старым.

В этих историях был какой-то повторяющийся мотив, даже несмотря на то что Паула и Долли принадлежали к разным поколениям. Он ощутил что-то похожее на чувство, которое испытывает сорокалетний мужчина, узнавший о свадьбе дочери своего старинного друга. Он отправил свои поздравления, и, в отличие от поздравлений Пауле, на этот раз они были искренними – он никогда по-настоящему не хотел, чтобы Паула была счастлива.

Когда он вернулся в Нью-Йорк, его сделали партнером на фирме, и в связи с возросшими обязанностями у него почти не осталось свободного времени. Отказ застраховать его жизнь, который он получил от страховой компании, так сильно на него повлиял, что он бросил пить почти на год и уверял, что чувствует себя физически намного лучше, хотя думается мне, что он скучал по веселым рассказам о приключениях, которые играли такую большую роль в его жизни в то время, когда ему было чуть за двадцать. Но он не перестал бывать в Йельском клубе. Он был там видной фигурой, известной личностью, и, в то время как его ровесники, закончившие колледж семь лет назад, расползались по тихим и трезвым местечкам, он олицетворял собой старые добрые времена.

Его день, как и его голова, никогда не были слишком заняты, чтобы не оказать любого рода помощь тому, кто просил о ней. То, что вначале казалось гордостью и чувством собственного превосходства, стало привычкой и истинной страстью. И всегда было что-то: младший брат, попавший в беду в Нью-Хейвен, ссора между другом и женой, которую нужно было разрешить, должность, которую нужно было найти для этого человека, или дело, требующее вложений. Но его коньком были неурядицы молодых женатых пар. Молодые пары очаровывали его, и их квартиры были для него настоящими святилищами, он узнавал историю их романтических отношений, советовал, где и как жить, и запоминал имена их детей. С молодыми женами он вел себя очень осмотрительно, он никогда не злоупотреблял доверием, которое их мужья неизменно оказывали ему, как бы странно это ни выглядело в свете его неприкрытой распушенности.

Казалось, он испытывал радость от счастливых браков и погружался в настолько же приятную меланхолию от тех, кто сбился с пути удачного замужества. Не проходило ни одного сезона, чтобы он не наблюдал крах союза, созданию которого он, возможно, и поспособствовал. Когда Паула развелась и почти сразу же вышла замуж за другого бостонца, он говорил со мной о ней однажды. Он никогда не любил никого так же сильно, как ее, но настаивал, что ему уже все

равно.

«Я никогда не женюсь, – говорил он. – Я слишком много видел, и для меня счастливый брак – это огромная редкость. Кроме того, я слишком стар».

Тем не менее он верил в брак. Подобно всем людям, почти вступившим в счастливый брак, он верил в брак со всей страстью – и ничего из того, что он видел, не могло поколебать эту веру, его цинизм растворялся в ней как воздух. Но он действительно верил в то, что он уже слишком стар. В возрасте 28 лет он начал хладнокровно принимать тот факт, что в браке не будет романтической любви, решительно выбрал девушку из Нью-Йорка, принадлежащую к его классу, привлекательную, умную, подходящую ему девушку без намека на нарекания, – и постарался влюбиться в нее. Вещи, которые он говорил Пауле от чистого сердца, другим из чувства приличия, он больше никому не мог сказать без усмешки или с силой, необходимой для убеждения.

«Когда мне будет сорок лет, – говорил он друзьям, – я стану настоящим мужланом и влюблюсь в хористку, как и все остальные».

Несмотря ни на что, он упорствовал в своих попытках. Его матери хотелось видеть его женатым, и он мог теперь это себе позволить – у него было свое место на рынке ценных бумаг и его доход приближался к двадцати пяти тысячам в год. С ним нельзя было не согласиться: когда его друзья – а большинство времени он проводил в том кругу, который образовался во времена Долли, – расходились каждый к своему домашнему очагу, он уже не получал удовольствия от своей свободы. Он даже задумался, не стоило ли ему жениться на Долли. Даже Паула не любила его больше, чем она, и он хорошо усвоил, какой большой редкостью для холостяка являются подлинные чувства.

В тот момент, когда подобные настроения незаметно подобрались к нему вплотную, его слуха достигла одна тревожная история. Его тетя Эдна, женщина около сорока лет, завела открытую интрижку с распущенным молодым выпивохой по имени Кэри Слоун. Все знали об этом, за исключением его дяди Роберта, который вот уже пятнадцать лет проводил все время за разговорами в клубах, воспринимая собственную жену как нечто само собой разумеющееся.

Энсон слышал об этом отовсюду, каждый раз со все возрастающей тревогой. Он даже стал испытывать к дяде что-то наподобие прежней приязни, и это было

больше, чем просто личная приязнь, это было что-то наподобие семейной солидарности, на которой была основана его гордость. Его интуиция подсказала одно необходимое условие, которое нужно соблюсти, а именно то, что дядя не должен был пострадать. Это был его первый опыт непрошеного вмешательства, но, зная характер Эдны, он чувствовал, что сможет разобраться с этим лучше, чем посторонний судья или его собственный дядя.

Дядя был в Хот-Спрингс. Энсон изучил источник скандала, чтобы избежать возможности ошибки, а затем пригласил Эдну пообедать с ним в «Плазе» на следующий день. Что-то в его голосе, должно быть, испугало ее, поэтому она стала отказываться, но он настаивал, меняя дату, пока у нее наконец не осталось оснований для отказа.

Она встретила с ним в назначенное время в вестибюле «Плазы», миловидная, слегка увядающая сероглазая блондинка, одетая в шубу из русского соболя. Пять роскошных колец с бриллиантами и изумрудами мерцали на ее изящных руках. Энсон подумал, что эти меха и камни, маскирующие ее угасающую красоту, заработаны отцом, а не дядей.

Несмотря на то что Эдна почувствовала его враждебность, она оказалась не готова к его прямолинейности.

– Эдна, я поражен тем, как ты себя ведешь, – сказал он сильным и твердым тоном. – Сначала я не мог в это поверить.

– Поверить во что? – резко спросила она.

– Не нужно притворяться передо мной, Эдна. Я говорю о Кэри Слоуне. Помимо всего прочего, я не думаю, что ты можешь обращаться с дядей Робертом и...

– А теперь послушай, Энсон... – начала она сердито, но он не допускающим возражений тоном продолжил:

– ...и с собственными детьми подобным образом. Вы женаты уже восемнадцать лет, и у тебя достаточно опыта, чтобы понимать, что происходит.

– Ты не имеешь права разговаривать со мной подобным образом. Ты...

– Имею. Дядя Роберт всегда был моим лучшим другом. – Он резко дернулся. Он по-настоящему сочувствовал дяде и своим трем маленьким кузенам.

Эдна поднялась, оставив свой салат из краба нетронутым.

– Это самая большая глупость.

– Очень хорошо. Если ты не хочешь выслушать меня, я пойду к дяде Роберту и все ему расскажу. Все равно рано или поздно он обо всем узнает. А после этого я пойду к старому Моисею Слоуну.

Эдна неуверенно опустила на стул.

– Не говори так громко. – В ее голосе звучала мольба, а глаза наполнились слезами. – Ты не представляешь себе, как звучит сейчас твой голос. Ты должен был выбрать не такое людное место для своих нелепых обвинений.

Он ничего не ответил.

– Ох, я никогда тебе не нравилась, я знаю это, – продолжала она, – а сейчас ты просто пытаешься получить выгоду от каких-то идиотских сплетен, чтобы разрушить единственную интересную дружбу, которая у меня есть. Что я сделала, чтобы ты так меня ненавидел?

Энсон ждал в молчании. Она пыталась возвать к его рыцарскому духу, затем к жалости и, наконец, к его изысканной утонченности, когда же он не высказал никакого интереса, последовали признания, и он смог воспользоваться ситуацией. Храня молчание и невозмутимость, возвращаясь к своему главному оружию, которым были его искренние эмоции, он погрузил ее в глубочайшее отчаяние к тому моменту, когда обед подошел к концу. В два часа она достала зеркальце, носовой платок и постаралась скрыть следы слез и запудрить тени под глазами. Она согласилась встретиться с ним у себя дома в пять.

Когда он появился, она лежала, растянувшись, на шезлонге, закрытом летним навесом из плотной ткани, и слезы, которые он вызвал за обедом, казалось, все еще блестели у нее на глазах. Затем он ощутил неприятное присутствие Кэри Слоуна.

Кінець ознакомительного фрагмента.

----

Купити: <https://tn.knigapoisk.com/frensis-ficdzherald/zagadochnaya-istoriya-bendzhamina-battona-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)